

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

ДВА ПРИЯТЕЛЯ



Два приятеля
Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Сергеевич Тургенев. ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Аннотация

«Два приятеля» — произведение великого русского писателя Ивана Тургенева. В своем творчестве он раскрывает тему русской интеллигенции и крестьянского быта, выступает мастером психологических портретов.

Перу автора принадлежат и другие известные произведения, такие как «Ася», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Бирюк», «Накануне», «Муму», «Пожар на море», «Постоялый двор», «Часы», «Три портрета», «Странная история», «Свидание» и т. д.

Иван Тургенев — выдающийся писатель XIX века, член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности, автор философско-психологических поэм, рассказов, повестей и романов.

Иван Сергеевич Тургенев
ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Весной 184* года Борис Андреич Вязовнин, молодой человек лет двадцати шести, приехал в свое родовое поместье, лежащее в одной из губерний средней полосы России. Он только что вышел в отставку — «по домашним обстоятельствам» — и намеревался заняться хозяйством. Мысль благая, конечно! Но возымел ее Борис Андреич, как оно, впрочем, большею частию бывает, — против воли. Доходы его уменьшались с каждым годом, долги увеличивались: он убедился в невозможности продолжать службу, жить в столице — словом, жить, как жил до тех пор, и решился скрепя сердце посвятить несколько лет на исправление тех «домашних обстоятельств», по милости которых он внезапно очутился в деревенской глуши.

Вязовнин нашел свое имение расстроенным, усадьбу запущенной, дом чуть не в развалинах; сменил старосту, уменьшил оклады дворовых; очистил себе две-три комнатки и велел положить новые тесинки там, где протекала крыша; впрочем, не предпринял никаких резких мер и не затеял никаких усовершенствований вследствие той, по-видимому, простой мысли, что должно, по крайней мере, узнать сперва то, что желаешь усовершенствовать… Вот он и принялся узна-

вать хозяйство, начал, как говорится, входить в сущность дела. Должно признаться, что входил он в сущность дела без особенного рвения и не торопясь. С непривычки он скучал в деревне сильно и часто не мог придумать, куда и на что употребить целый длинный день. Соседей у него было довольно много, но он не знался с ними, — не потому, чтобы чуждался их, а так как-то, не приходилось ему с ними сталкиваться, наконец, уже осенью, довелось ему познакомиться с одним из самых близких ему соседей. Его звали Петром Васильичем Крупицыным. Он когда-то служил в кавалерии и вышел в отставку поручиком. Между его мужиками и вязовнинскими с незапамятных времен шел спор о двух с половиною десятинах сенокосной земли. Дело нередко доходило до драки; копны сена таинственно переезжали с места на место; происходили разные неприятности, и, вероятно, много еще лет продолжался бы этот спор, если б Крупицын, узнав стороной о миролюбивых свойствах Бориса Андреича, не поехал к нему для личного объяснения. Объяснение это имело последствия очень приятные: во-первых, дело прекратилось тотчас же и навсегда, к обоюдному удовольствию владельцев, а во-вторых, и сами они друг другу понравились, стали часто

видеться, а к зиме сошлись уже так, что почти не расставались.

И между тем общего между ними было немного. Вязовнин, как человек хотя сам не богатый, но происходивший от богатых родителей, получил хорошее воспитание, учился в университете, знал разные языки, любил заниматься чтением книг и вообще мог считаться человеком образованным. Крупицын, напротив, говорил с грехом пополам по-французски, без особенной нужды книги в руки не брал и скорее принадлежал к числу людей необразованных. Наружностью приятели тоже мало походили друг на друга: Вязовнин был довольно высокого роста, худ, белокур и смахивал на англичанина; держал свою особу, особенно руки, в большой чистоте, одевался изящно и щеголял галстуками… столичные привычки!. Крупицын, напротив, был роста небольшого, сутуловат, смугл, черноволос и лето и зиму ходил в каком-то пальто-саке с оттопыренными карманами, из сукна бронзового цвета. «Мне этот цвет за то нравится, — говаривал Петр Васильич, — что он не марок». Цвет сукна действительно не был марок, но само сукно порядком позапачкалось. Вязовнин любил хорошо покушать и охотно говорил о том, как приятно

хорошо кушать и что значит иметь вкус; Крупицын ел все, что ни подавали ему, лишь бы только было над чем потрудиться. Попадались ли ему щи с кашей — он с удовольствием хлебал щи и заедал их кашей; представлялся ли ему немецкий жидкий суп — он с той же готовностью налегал на суп, а случалась тут каша — он и кашу туда же валил в тарелку — и ничего. Квас любил он, по собственному выражению, как отца родного, а вина французские, особенно красные, терпеть не мог и называл кислятиной. Вообще Крупицын был очень далек от брезгливости, тогда как Вязовнин менял в день два носовых платка. Словом, приятели, как мы уже сказали выше, не походили друг на друга. Одно в них было общее: оба они были, что называется, добрые малые, простые ребята. Крупицын таким родился, а Вязовнин стал таким. Кроме того, они оба еще отличались тем, что ни тот, ни другой ничего особенного не любил, то есть не имел ни к чему особенной страсти или привязанности. Крупицын шестью или осьмью годами был старше Вязовнина.

Дни их проходили довольно однообразно. Обыкновенно утром, однако не слишком рано, часов в десять, Борис Андреич еще сидел возле окна, в красивом шлафроке нараспашку, причесанный,

вымытый и в белой как снег рубашке, с книжкой и чашкой чаю; дверь отворялась, и входил Петр Васильич с обычным своим небрежным видом. Деревенька его находилась всего в полуверсте от Вязовны (так называлось имение Бориса Андреича). Притом Петр Васильич очень часто оставался на ночь у Бориса Андреича. «А, здравствуйте! — говорили они оба в одно время. — Как почивали?» И тут же Федюшка (мальчик лет пятнадцати, одетый казачком, у которого даже волосы, стоявшие дыбом, как у турухтана весной, на затылке, имели вид заспанный) приносил Петру Васильичу его шлафрок из бухарской материи, и Петр Васильич, предварительно крякнув, облекался в свой шлафрок и принимался за чай и за трубку. Тут начинались разговоры — разговоры неторопливые, с промежутками и роздыхами: говорили о погоде, о вчерашнем дне, о полевых работах и хлебных ценах; говорили также о близлежащих помещиках и помещицах. В первые дни своего знакомства с Борисом Андреичем Петр Васильич почитал за долг и даже радовался случаю расспрашивать соседа о столичной жизни, о науке и образованности — вообще о возвышенных предметах; ответы Бориса Андреича занимали, часто удивляли его и возбуждали его внимание,

но в то же время причиняли ему некоторую усталость, так что вскорости все подобные разговоры прекратились; да и сам Борис Андреич, с своей стороны, не обнаруживал излишнего желания возобновлять их. Случалось впоследствии — и то изредка, — что Петр Васильич спросит вдруг Бориса Андреича, например, о том, что, дескать, за вещь электрический телеграф, и, выслушав не совсем ясное толкование Бориса Андреича, помолчит, скажет: «Да, это удивительно», — и уже долго потом не любопытствует ни о каком ученом предмете. Большею частью разговоры между ними происходили вроде следующего. Петр Васильич, например, наберется дыму из трубки и, выпуская его через ноздри, спросит:

— А что это у вас за новая девушка? Я на заднем крыльце видел, Борис Андреич.

Борис Андреич в свою очередь поднесет сигарку ко рту, пыхнет раза два и, отхлебнув глоток холодного чаю со сливками, промолвит:

— Какая новая девушка?

Петр Васильич нагнется несколько вбок и, глянув в окно на двор, где собака только что укусила босого мальчика за икру, возразит:

— Белокурая такая… недурная.

— А! — воскликнет немного погодя Борис Ан-

дреич, — это у меня новая прачка.

— Откуда? — спросит Петр Васильич, словно удивившись.

— Из Москвы. В ученье была.

И оба помолчат.

— А сколько у вас всех прачек, Борис Андреич? — спросит опять Петр Васильич, внимательно глядя на вспыхивающий с сухим треском табак под нагоревшею золою в трубке.

— Три, — отвечает Борис Андреич.

— Три! У меня только одна. И одной-то делать почти нечего. Ведь у меня, вы сами знаете, какое мытье!

— Гм! — отвечает Борис Андреич.

И разговор прекращается на время.

В таких занятиях проходило утро и наступало время завтрака. Петр Васильич особенно любил завтрак и утверждал, что двенадцатый час — это есть самое то время, когда хочется человеку есть; и действительно: он в этот час ел так весело, с таким здоровым и приятным аппетитом, что, глядя на него, даже немец бы порадовался: так славно завтракал Петр Васильич! Борис Андреич кушал гораздо меньше: с него достаточно было куриной котлетки или двух яичек всмятку с маслом и какой-нибудь английской приправы в хитро

устроенном и патентованном сосуде, за которую платил он большие деньги и которую втайне находил отвратительною, хотя и уверял, что без нее ничего в рот взять не может. После завтрака и до обеда оба приятеля, если погода была хорошая, ходили по хозяйству или так просто гуляли, смотрели, как объезжались молодые лошади, и т. д. Иногда добиралися они до деревни Петра Васильича и изредка заходили в его домик.

Домик этот, небольшой и ветхий, скорее походил на простую дворовую лачужку, чем на жилище помещика. По соломенной крыше, кругом пробуравленной воробьиными и галочными гнездами, рос зеленый мох; из двух осиновых срубов, некогда сплоченных и прилаженных, один откинулся назад, другой покачнулся вбок и врос в землю; словом, плох был дом Петра Васильича снаружи, плох изнутри. Но Петр Васильич не унывал: будучи человеком холостым и вообще невзыскательным, он мало радел об удобствах жизни и довольствовался уже тем, что имел местечко, где мог, по нужде, укрыться от ненастья и холода. Хозяйством его заведовала ключница Македония, женщина средних лет, очень усердная и даже честная, но с несчастными руками; ничего у ней не спорилось: посуда билась, белье рвалось,

кушанье не доваривалось или пригорало. Петр Васильич называл ее Калигулой.

Имея врожденную склонность к хлебосольству, Петр Васильич любил видеть у себя гостей и угощать их, несмотря на скудность средств своих. Особенно старался и хлопотал он, когда посещал его Борис Андреич; но, по милости Македонии, которая, впрочем, чуть не летела с ног долой на каждом шагу от усердия, угощения бедного Петра Васильича выходили всегда неудачны и большей частью ограничивались куском зачерствелого балыка и рюмкой водки, о которой он отзывался совершенно справедливо, говоря, что она отлична *против* желудка. После прогулки оба приятеля возвращались в дом Бориса Андреича и обедали не спеша. Покушавши так, как будто завтрака и не было, Петр Васильич отправлялся куда-нибудь в уединенный угол и спал часика два-три; Борис Андреич в это время читал заграничные журналы. Вечером приятели опять сходились: такая уже между ними завелась дружба! Иногда они садились играть в преферанс, вдвоем, иногда просто разговаривали таким же образом, как поутру; случалось, что Петр Васильич брал со стены гитару и пел довольно приятным тенором разные романсы. Петр Васильич очень любил

музыку, — гораздо более, чем Борис Андреич, который без восхищения не мог произнести имени Бетховена и все собирался выписать из Москвы фортепьяно. В минуту грусти или уныния Петр Васильич имел привычку петь романс, относившийся ко времени его службы в полку… С особенным чувством и несколько в нос произносил он следующие стихи:

Кухню нам француз не правит,
А денщик варит обед…
Славный Роде не играет,
Каталани не поет…
Трубач зорю отхватает,
Вахмистр с рапортом придет.

Борис Андреич изредка ему подтягивал, но голос у него был неприятный и неверный. Часу в десятом, а иногда и раньше, приятели расходились… и на другой день снова начиналось то же.

Вот однажды, сидя, по обыкновению, несколько вкось и напротив Бориса Андреича, Петр Васильич поглядел на него довольно пристально и промолвил задумчивым голосом:

— Одному я удивляюсь, Борис Андреич…

— Чему это? — спросил тот.

— А вот чему. Вы человек молодой, умный, образованный: что вам за охота жить в деревне?

Борис Андреич посмотрел с удивлением на своего соседа.

— Вы ведь знаете, Петр Васильич, — проговорил он наконец, — что если б не мои обстоятельства… Обстоятельства меня к этому принуждают, Петр Васильич.

— Обстоятельства? Обстоятельства ваши пока еще ничего… С вашим имением можно жить. Определитесь на службу.

И, помолчав немного, Петр Васильич прибавил:

— Я на вашем месте поступил бы в уланы.

— В уланы? Почему же именно в уланы?

— Так, мне кажется, вам приличнее быть в уланах.

— Но позвольте: вы сами служили в гусарах?

— Я? Конечно, в гусарах, — с живостью заговорил Петр Васильич, — и в каком полку! Такого другого полка в целом свете не найдешь! Золотой был полк! Начальники, товарищи — что за люди были! Но вам… я не знаю… вам, по-моему, надо в уланы. Вы белокуры, талия у вас тоненькая: все это идет.

— Но позвольте, Петр Васильич, вы забывае-

те, что, в силу военных узаконений, я должен буду начать с юнкерского чина. В мои годы это несколько затруднительно. Кажется, даже оно запрещено.

— И то правда, — заметил Петр Васильич и потупился. — Ну, в таком случае женитесь, — произнес он вдруг, подняв голову.

— Какой у вас, однако, сегодня странный оборот мыслей, Петр Васильич! — воскликнул Борис Андреич.

— Почему же странный? Что, в самом деле, жить так-то? Чего дождетесь? Только время упустите. Желаю я знать, какая вам оттого будет польза, что вы не женитесь?

— Да не в пользе дело, — начал было Борис Андреич.

— Нет, позвольте, — перебил его Петр Васильич, неожиданно войдя в азарт. — Это мне удивительно, отчего в нынешнее время молодые люди так боятся жениться! Я этого просто понять не могу. Вы, Борис Андреич, не смотрите на меня, что я не женат. Я, может быть, и хотел и предлагал, да мне вот что показали.

И тут Петр Васильич поднял кверху указательный палец правой руки, обратив его наружной стороной к Борису Андреичу.

— А с вашим состоянием как не жениться!

Борис Андреич внимательно глядел на Петра Васильича.

— Весело, что ли, холостым-то жить? — продолжал Петр Васильич. — Эка невидаль! вот радость-то!.. Право, меня нынешние молодые люди удивляют.

И Петр Васильич с досадой выколотил трубку о ручку кресла и сильно дунул в чубук.

— Да кто вам сказал, Петр Васильич, что я не намерен жениться? — медленно проговорил Борис Андреич.

Петр Васильич как полез пальцами в свой вышитый блестками бархатный, массакового цвета кисет с табаком, так и остался недвижим. Слова Бориса Андреича его изумили.

— Да, — продолжал Борис Андреич, — я готов жениться. Сыщите мне невесту, и я женюсь.

— Право?

— Право.

— Нет, ей-богу?

— Какой вы, Петр Васильич: ей-богу, я не шучу.

Петр Васильич набил себе трубку.

— Ну, смотрите ж, Борис Андреич. Невеста вам будет.

— Хорошо, — возразил Борис Андреич, — но

послушайте, в сущности, для чего вы хотите женить меня?

— А для того, что вы, как посмотрю на вас, не имеете способности этак ничего не делать.

Борис Андреич улыбнулся.

— Мне, напротив, до сих пор казалось, что я на это мастер.

— Вы меня не так поняли, — промолвил Петр Васильич и переменил разговор.

Дня два спустя Петр Васильич явился к своему соседу не в обыкновенном своем пальто-саке, а в сюртуке цвета воронова крыла, с высокой тальею, крошечными пуговицами и длинными рукавами. Усы Петра Васильича казались почти черными от фабры, а волосы, круто завитые спереди в виде двух продолговатых колбасок, ярко лоснились помадой. Большой бархатный галстук с атласным бантом туго сжимал шею Петра Васильича и придавал торжественную неподвижность и праздничную осанку всей верхней части его туловища.

— Что значит этот туалет? — спросил Борис Андреич.

— А то значит этот туалет, — ответил Петр Васильич, опускаясь на кресла не с обычной своей развязностью, — что велите заложить коляску.

Мы едем.

— Куда это?

— К невесте.

— К какой невесте?

— А вы уже забыли, о чем мы четвертого дня разговаривали с вами?

Борис Андреич засмеялся, а сам смутился в душе.

— Помилуйте, Петр Васильич, да ведь это была одна шутка.

— Шутка? Как же вы божились тогда, что не шутите? Нет, уж извините, Борис Андреич, а вы должны сдержать свое слово. Я уж принял надлежащие меры.

Борис Андреич еще более смутился.

— Какие, однако, то есть, меры? — спросил он.

— О, не беспокойтесь… Что вы думаете! Я только предварил одну нашу соседку, прелюбезную особу, что мы с вами сегодня намерены посетить ее.

— Кто эта соседка?

— Узнаете — погодите. Вот вы сперва оденьтесь да велите лошадей заложить.

Борис Андреич с нерешительностью поглядел кругом.

— Право, Петр Васильич, что вам за охота… посмотрите, какая погода.

— Ничего погода: она всегда такая бывает.

— И далеко ехать?

— Верст пятнадцать.

Борис Андреич помолчал.

— Да хоть позавтракаемте сперва!

— Позавтракать — ничего, можно. Знаете что, Борис Андреич, подите оденьтесь теперь, а я без вас распоряжусь: водочки, икры кусок — это недолго, а у вдовушки нас покормят, об этом беспокоиться нечего.

— Разве она вдова? — спросил, обернувшись, Борис Андреич, который уже подходил к дверям кабинета.

Петр Васильич закачал головой.

— Вот увидите, увидите.

Борис Андреич ушел и запер за собою дверь, а Петр Васильич, оставшись один, распорядился и насчет коляски, и насчет завтрака.

Борис Андреич одевался довольно долго. Петр Васильич выпивал уже, слегка наморщившись и приняв грустный вид, вторую рюмку водки, когда Борис Андреич предстал на пороге кабинета. Он позаботился о своем туалете. На нем был щегольски сшитый просторный черный сюртук, приятно отделявшийся своей матовой массой от томного блеска светло-серых брюк, черный

низенький галстук и красивый темно-синий жилет; золотая цепочка, прицепленная крючком к последней петельке, скромно терялась в боковом кармане; тонкие сапоги благородно скрипели, и вместе с появлением Бориса Андреича разлился в воздухе запах Ess'bouquet'a в соединении с запахом свежего белья. Петр Васильич только и мог произнести что «а!» и тотчас взялся за шапку.

Борис Андреич натянул на левую руку лайковую серую перчатку, предварительно подышав в нее; потом тою же рукою нервически налил себе четверть рюмки водки и выпил; наконец взял шляпу и вышел вместе с Петром Васильичем в переднюю.

— Я это только для вас делаю, — сказал Борис Андреич, садясь в коляску.

— Положим, что для меня, — сказал Петр Васильич, на которого, видимо, подействовал изящный вид Бориса Андреича, — а может быть, вы сами будете меня благодарить.

И он сказал кучеру, как и куда ехать. Коляска покатилась.

— Мы едем к Софье Кирилловне Заднепровской, — промолвил Петр Васильич после довольно продолжительного промежутка, в течение которого оба приятеля сидели неподвижно, слов-

но каменные. — Слыхали ли вы про нее?

— Кажется, слыхал, — отвечал Борис Андреич. — Что же, вы ее-то мне в невесты прочите?

— А почему же бы и нет? Она женщина отличного ума, с состояньем, с манерами, можно сказать, столичными. Впрочем, поглядите… ведь это вас ни к чему не обязывает.

— Еще бы! — возразил Борис Андреич. — А сколько ей лет?

— Лет двадцать пять или двадцать семь — никак не более. В самом, как говорится, соку!

До имения госпожи Заднепровской было не пятнадцать, а добрых двадцать пять верст, так что Борис Андреич порядком продрог под конец и все прятал свой покрасневший носик в бобровый воротник шинели. Петр Васильич не боялся холода вообще и в особенности, когда был одет по-праздничному. Тогда он скорее подвергался испарине. Усадьба госпожи Заднепровской состояла из новенького белого домика с зеленой крышей, в виде дачи, в городском вкусе, с небольшим садиком и двором. Под Москвою часто можно встретить подобные дачи; в провинции они попадаются реже. Видно было, что госпожа Заднепровская поселилась тут недавно. Приятели вышли из коляски. На крыльце встретил их лакей в гороховых

панталонах и сером круглом фраке с гербовыми пуговицами; в передней, довольно опрятной, но с коником, встретил их другой такой же лакей. Петр Васильич велел доложить барыне о себе и о Борисе Андреиче. Лакей не пошел к барыне, а отвечал, что приказано просить.

Гости отправились и через столовую, в которой оглушительно трещала канарейка, вошли в гостиную, с модной мебелью из русского магазина, очень ухищренной и изогнутой, под предлогом доставления удобства сидящим, а в сущности, очень неудобной. Не прошло двух минут, как послышался в соседней комнате шелест шелкового платья; портьерка приподнялась, и проворными шагами вошла в гостиную хозяйка. Петр Васильич расшаркался и подвел к ней Бориса Андреича.

— Очень рада с вами познакомиться и давно этого желала, — развязно проговорила хозяйка, быстро окинув его взором. — Я очень благодарна Петру Васильичу за доставление такого приятного знакомства. Прошу садиться.

И хозяйка села, прошумев платьем, на низкий диванчик, прислонилась к спинке, протянула ноги, обутые в очень миленькие ботинки, и скрестила руки. Платье на ней было зеленое, с

беловатыми переливами, гляссе, с воланами в несколько рядов.

Борис Андреич сел на кресла против нее. Петр Васильич — немного поодаль. Разговор начался. Борис Андреич внимательно рассматривал Софью Кирилловну. Это была женщина стройная, высокая, с тонкой тальей, смуглая и довольно красивая. Выражение ее лица и особенно глаз, больших и блестящих, с приподнятыми углами, как у китайцев, являло странную смесь смелости и робости и никак не могло назваться естественным. Она то щурила свои глаза, то внезапно их раскрывала; а на губах у ней постоянно играла улыбка, желавшая казаться равнодушной. Все движения Софьи Кирилловны были очень свободны, почти резки. Впрочем, наружность ее понравилась Борису Андреичу; только неприятно подействовал на него косой пробор волос, придававший ее чертам лихой и мальчишеский вид; сверх того, она, по его мнению, слишком чисто и правильно выражалась по-русски… Борис Андреич разделял мнение Пушкина, что —

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки

нельзя любить русской речи. Словом, Софья

Кирилловна принадлежала к числу тех женщин, которых любезники величают ловкими дамами, мужья — боевыми особами, а старые холостяки — разбитными бабенками.

Сперва разговор зашел о том, что очень скучно жить в деревне.

— Здесь просто нет живой души, просто не с кем словом перекинуться, — говорила Софья Кирилловна, особенно отчетливо произнося букву *с*. — Я не могу понять, что за люди здесь живут. А те, — прибавила она с ужимкой, — с которыми было бы приятно познакомиться, — те не ездят, оставляют нас, бедных, в нашем невеселом одиночестве.

Борис Андреич слегка наклонился вперед и пробормотал какое-то неловкое извинение, а Петр Васильич только глянул на него, как бы желая сказать: «Ну, что я вам говорил? Кажется, эта за словом в карман не полезет».

— Вы курите? — спросила Софья Кирилловна.

— Курю… но…

— Сделайте одолжение… я сама курю.

И, сказав эти слова, вдова взяла со столика довольно большую серебряную сигарочницу, достала из нее папироску и предложила гостям. Оба гостя взяли по папироске. Софья Кириллов-

на позвонила и велела вошедшему мальчику, с красным жилетом во всю грудь, подать огня. Мальчик принес восковую свечу на хрустальном подносе. Папироски задымились.

— Ведь вот, например, вы не поверите, — продолжала вдова, слегка закинув голову и пуская дым тонкой струею кверху, — здесь есть люди, которые находят, что дамам не следует курить. А уж верхом ездить — сохрани боже! просто каменьями побьют. Да, — прибавила она после небольшого молчания, — все, что выходит из-под общего уровня, все, что нарушает законы какого-то выдуманного приличия, подвергается здесь строжайшему осуждению.

— Особенно барыни на этот счет сердиты, — заметил Петр Васильич.

— Да, — возразила вдова, — беда попасть к ним на зубок! Впрочем, я с ними не знаюсь вовсе; сплетни их не проникают в мое пустынное убежище.

— И вам не скучно? — спросил Борис Андреич.

— Скучно? Нет. Я читаю… А когда книги мне надоедают, мечтаю, гадаю о будущем, задаю вопросы своей судьбе.

— Будто вы гадаете? — спросил Петр Васильич.

Вдова снисходительно улыбнулась.

— Почему же и не гадать? Я уже довольно стара для этого.

— О, что вы-с! — возразил Петр Васильич.

Софья Кирилловна, прищурившись, посмотрела на него.

— Впрочем, бросимте этот разговор, — промолвила она и с живостью обратилась к Борису Андреичу: — Послушайте, мсье Вязовнин, я уверена, что вы интересуетесь русской литературой?

— Да… конечно, я…

Вязовнин любил читать, но, собственно, по-русски читал неохотно и мало. Особенно новейшая словесность была ему незнакома: он остановился на Пушкине.

— Скажите, пожалуйста, отчего Марлинский в последнее время впал в такую немилость? Это, по-моему, в высшей степени несправедливо. Вы какого о нем мнения?

— Марлинский — писатель с достоинствами, конечно, — возразил Борис Андреич.

— Он поэт; он уносит воображение в мир… в какой-то очаровательный, чудесный мир; а в нынешнее время все стали описывать ежедневное. Ну, помилуйте, что хорошего в этой ежедневной жизни, здесь, на земле…

И Софья Кирилловна провела рукой вокруг

себя.

Борис Андреич значительно посмотрел на Софью Кирилловну.

— Я не согласен с вами. Я нахожу много хорошего и здесь, — сказал он, с особенным ударением на последнем слове.

Софья Кирилловна внезапно засмеялась каким-то резким смехом, а Петр Васильич так же внезапно поднял голову, подумал и опять принялся курить. Разговор продолжался в том же роде, как начался, до самого обеда, беспрестанно переходя от одного предмета к другому, чего не случается, когда разговор становится действительно занимательным. Между прочим, речь зашла и о браке, о его выгодах и невыгодах, и о положении женщин вообще. Софья Кирилловна сильно восставала против брака, пришла наконец в волнение и, почувствовав жар, выражалась очень красноречиво, хотя собеседники ее ей почти не противоречили: она недаром любила Марлинского. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова: артистический, художественность, обусловливать — так и сыпались из ее уст.

— Что может быть для женщины дороже свободы — свободы мыслей, чувств, поступков! —

воскликнула она, наконец.

— Да позвольте, — перебил ее Петр Васильич, лицо которого понемногу начинало принимать выражение недовольное, — на что женщине свобода? что она с нею сделает?

— Как что? А мужчине она, по-вашему, нужна? То-то и есть: вы, господа…

— Да и мужчине она не нужна, — перебил ее опять Петр Васильич.

— Как не нужна?

— Да так же, не нужна. На что она, эта хваленая свобода, человеку? Человек свободный — это дело известное — либо скучает, либо дурачится.

— Стало быть, — заметила Софья Кирилловна с иронической усмешкой, — вы скучаете, потому что, зная вас за человека благоразумного, я не могу предполагать, чтобы вы дурачились, как вы говорите.

— Случается и то, и другое, — спокойно промолвил Петр Васильич.

— Вот это мило! Впрочем, я должна быть благодарна вашей скуке за то, что имею удовольствие видеть вас сегодня у себя…

И, довольная ловким оборотом своей фразы, хозяйка слегка закинулась назад и произнесла вполголоса:

— Ваш приятель, я вижу, любит парадоксы, monsieur Вязовнин.

— Я этого не заметил, — возразил Борис Андреич.

— Что я люблю? — спросил Петр Андреич.

— Парадоксы.

Петр Васильич посмотрел в глаза Софье Кирилловне и ничего не ответил ей, а только подумал про себя: «Я так знаю, что ты любишь…»

Мальчик с красным жилетом вошел и доложил, что обед готов.

— Милости просим, — сказала хозяйка, поднимаясь с дивана.

И все перешли в столовую.

Обед не понравился гостям. Петр Васильич встал из-за стола голодный, хотя блюд было много; а Борис Андреич, как гастроном, остался недоволен, хоть кушанья приносились под жестяными колпаками и тарелки подавались гретые. Вина тоже оказались плохими, несмотря на великолепные, золотом и серебром украшенные ярлыки на бутылках. Софья Кирилловна не переставала разговаривать — только по временам бросала выразительные взоры на подававших людей, и винцо она попивала порядком, причем замечала, что в Англии все дамы употребляют

вино, а здесь и это считается неприличным. После обеда хозяйка пригласила Бориса Андреича и Петра Васильича обратно в гостиную и спросила у них, что они предпочитают — кофе или желтый чай. Борис Андреич пожелал чаю и, выпив свою чашку, внутренно сожалел о том, что не попросил кофе; а Петр Васильич пожелал кофе и, выпив свою чашку, спросил чаю, отведал и поставил чашку обратно на поднос. Хозяйка уселась, закурила папироску и, по-видимому, не прочь была затеять самую оживленную беседу: глаза у ней разгорелись и смуглые щеки покраснели. Но гости отвечали вяло на ее бойкие речи, занимались больше куреньем и, судя по взорам их, внезапно устремленным в углы комнаты, думали об отъезде. Впрочем, Борис Андреич, вероятно, согласился бы остаться до вечера: он уже вступил было в прение с Софьей Кирилловной по поводу кокетливого ее вопроса: не удивляется ли он тому, что она живет одна, без компаньонки? Но Петр Васильич явно торопился домой. Он встал, вышел в переднюю и приказал заложить лошадей. Когда же, наконец, оба приятеля стали прощаться, а хозяйка начала их удерживать и любезно выговаривать им, что они так мало посидели у ней, то Борис Андреич нерешительным

наклонением своего стана и осклабленным выражением лица показывал, по крайней мере, что упреки ее на него действуют; но Петр Васильич, напротив, то и дело бормотал: «Никак нельзя-с, пора ехать-с, дела-с, теперь месячно», — и упорно пятился назад, к двери. Софья Кирилловна взяла с них, однако, слово, что они на днях опять посетят ее, и сама протянула им руку для английского Shakehands.[1] Борис Андреич один воспользовался ее предложением и довольно-таки крепко пожал ее пальцы. Она прищурилась и улыбнулась. В это мгновение Петр Васильич уже надевал в передней шинель в рукава.

Коляска не успела еще выехать из деревни, как он первый нарушил молчание, воскликнув:

— Не то, не то, нет, не годится, не то!

— Что вы хотите сказать? — спросил его Борис Андреич.

— Не то, не то, — повторял Петр Васильич, глядя в сторону и слегка отвернувшись.

— Если вы это говорите про Софью Кирилловну, то я с вами не согласен: она очень милая дама, — с претензиями, но милая.

— Еще бы! Конечно, если б только для того, что-

---

[1] Примечания: 1
Рукопожатия *(англ.)*.

бы, например… Но ведь я с какою целью желал вас с нею познакомить?

Борис Андреич не отвечал.

— Уж я вам говорю, не то. Сам вижу. Это мне нравится — говорить о себе: «Я эпикурейка». Да позвольте: вот у меня на правой стороне двух зубов недостает — разве я говорю об этом? И без моих слов все увидят. И притом, какая она хозяйка? Чуть с голоду не уморила. Нет, по-моему, будь развязная, будь начитанная, коли уж так тебя повернуло, будь с бонтоном, но будь хозяйка прежде всего. Нет, не то, не то, не того вам надо. Этими красными жилетами да колпаками на блюдах вас не удивишь.

— Да разве вам нужно, чтоб меня удивили? — спросил Борис Андреич.

— Уж я знаю, что вам нужно, — теперь я знаю.

— Уверяю вас, что я благодарен вам за знакомство с Софьей Кирилловной.

— Тем лучше; но она, я повторяю, не то.

Приятели поздно вернулись домой. Уходя от Бориса Андреича, Петр Васильич взял его за руку и промолвил:

— А я все-таки от вас не отстану, слова я вашего вам не возвращаю.

— Помилуйте, я к вашим услугам, — возразил

Борис Андреич.

— Ну и прекрасно!

И Петр Васильич удалился.

Целая неделя прошла опять обыкновенным порядком, с тою, однако, особенностью, что Петр Васильич отлучался куда-то на целый день. Наконец, в одно утро явился он, опять одетый по-праздничному, и опять предложил Борису Андреичу съездить с ним в гости. Борис Андреич, который, как видно, ожидал этого приглашения с некоторым нетерпением, беспрекословно повиновался.

— Куда вы теперь меня везете? — спросил он Петра Васильича, сидя с ним рядом уже в санях.

Со времени их поездки к Софье Кирилловне зима успела стать.

— Я везу вас теперь, Борис Андреич, — отвечал Петр Васильич с расстановкой, — в один очень почтенный дом — к Тиходуевым. Это препочтенное семейство. Старик служил полковником и прекрасный человек. Жена его тоже прекрасная дама. У них две дочери, чрезвычайно любезные особы, воспитаны отлично, и состояние есть. Не знаю, какая вам больше понравится: одна этак будет поживее, другая — потише; другая-то, признаться, уже слишком робка. Но обе могут за себя

постоять. Вот вы увидите.

— Хорошо, увижу, — возразил Борис Андреич и подумал про себя: «Словно семейство Лариных из „Онегина“».

И, по милости ли этого воспоминания, по другой ли какой причине, черты его лица приняли на некоторое время вид разочарованный и скучающий.

— Как зовут отца? — спросил он небрежно.

— Его зовут Калимон Иваныч, — ответил Петр Васильич.

— Калимон! Что за имя!.. А мать?

— А мать зовут Пелагеей Ивановной.

— А дочерей как зовут?

— Одну тоже Пелагеей, а другую Эмеренцией.

— Эмеренцией? Я такого имени отроду не слыхал… и еще Калимоновной.

— Да, имя точно немножко странное… Но какая зато девица! Просто, можно сказать, вся составлена из какого-то добродетельного огня!

— Петр Васильич, помилуйте! Как вы поэтически выражаетесь! А какая из них Эмеренция — та, что потише?

— Нет, другая… Да вот вы сами увидите.

— Эмеренция Калимоновна! — воскликнул еще раз Вязовнин.

— Мать зовет ее Emerance, — вполголоса заметил Петр Васильич.

— А мужа своего — Calimon?

— Этого не слыхал. Да вот погодите.

— Подожду.

До Тиходуевых было тоже верст около двадцати пяти, как до Софьи Кирилловны; но старинная усадьба их нисколько не походила на щегольской домик развязной вдовы. Это было неуклюжее строение, просторное и пространное, какая-то масса темного тесу, с темными стеклами в окнах. По бокам стояли в два ряда высокие березы; из-за крыши виднелись бурые вершины огромных лип — весь дом словно оброс кругом; летом растительность эта, вероятно, оживляла вид усадьбы, зимой она придавала ей еще больше уныния. Впечатление, производимое внутренностью дома, тоже не могло назваться веселым: все в нем было мрачно и тускло, все казалось старее, чем оно было в самом деле. Приятели велели доложить о себе; их провели в гостиную. Хозяева встали им навстречу, но долгое время могли приветствовать их только знаками и телодвижениями, на которые гости, с своей стороны, отвечали одними улыбками и поклонами: такой ужасный лай подняли четыре белые шавки, соскочившие

при появлении чужих лиц с шитых подушек, на которых лежали. Кое-как, хлопаньем по воздуху носовыми платками и другими средствами, успокоили разъярившихся собачонок, а одну из них, самую старую и самую злую, вошедшая девка принуждена была вытащить из-под скамейки и унести в спальню, причем потерпела укушение в правую руку.

Петр Васильич воспользовался восстановившеюся тишиной и представил Бориса Андреича хозяевам. Хозяева объявили в один голос, что очень рады новому знакомству; потом Калимон Иваныч представил Борису Андреичу своих дочерей, называя их Поленькой и Эменькой. В гостиной находились еще две женские личности, уже немолодые: одна — в чепце, другая — в темном платочке; но Калимон Иваныч не почел нужным познакомить с ними Бориса Андреича.

Калимон Иваныч был человек лет пятидесяти пяти, высокий, плотный, седой; лицо его не выражало ничего особенного: черты тяжелые, простые, с отпечатком равнодушия, доброты и лени. Жена его, маленькая, худая, с изношенным личиком, с накладкой красноватых волос под высоким чепцом, казалась в вечной тревоге; в ней замечались следы давно прошедшего же-

манства. Из дочерей одна, Пелагея, черноволосая и смуглая, глядела исподлобья и дичилась; другая, напротив, Эмеренция, белокурая, полная, с круглыми красными щеками, с маленьким, съеженным ротиком, вздернутым носиком и сладкими глазками, так и выдавалась вперед; видно было, что обязанность занимать гостей лежала на ее ответственности и нисколько ее не тяготила. На обеих сестрах были белые платья, со вздымавшимися от малейшего движения голубыми лентами. Голубое шло к Эмеренции, но не шло к Поленьке… да вряд что-нибудь могло идти к ней, хотя ее нельзя было назвать некрасивой. Гости уселись; хозяева предложили им обычные вопросы, произносимые с тем приторным и натянутым выражением лица, которое является у самых порядочных людей в первые мгновения разговора с новым знакомым; гости возражали таким же образом. Все это производило довольно тягостное впечатление. Калимон Иваныч, не будучи очень находчив от природы, спросил Бориса Андреича, «давно ли он поселился в наших краях», а Борис Андреич только что успел ответить Пелагее Ивановне на этот же самый вопрос. Пелагея Ивановна очень нежным голосом — голосом, который всегда употребляется при гостях в

день их первого посещения, — упрекнула своего мужа в рассеянности; Калимон Иваныч немного смутился и громко высморкался в клетчатый носовой платок. Звук этот взволновал одну шавку, и она залаяла; но Эмеренция тотчас нашлась и, приласкав ее, успокоила. Та же самая девица сумела оказать другую услугу своим несколько уже потерявшимся родителям: она оживила разговор, скромно, но с твердостью подсев к Борису Андреичу и предложив ему в свою очередь с самым умильным видом вопросы хотя незначительные, но приятные и способные вызвать веселые ответы. Дело скоро пошло на лад; завязалось общее прение, в котором одна Поленька не принимала участия. Она с упорством глядела на пол, между тем как Эмеренция даже смеялась, грациозно приподняв одну руку, и в то же время так держалась, как будто хотела сказать: «Смотрите, смотрите, как я благовоспитанна и любезна и сколько во мне милой игривости и расположения ко всем людям!» Казалось, она и пришепетывала оттого, что уже очень была добра. Она смеялась, придавая смеху своему сладостную растянутость, хотя Борис Андреич сначала не произносил ничего особенного; она смеялась потом еще более, когда Борис Андреич, поощренный успехом слов

своих, начал действительно острить и злословить… Петр Васильич тоже смеялся. Вязовнин заметил между прочим, что он страстно любит музыку.

— А я как люблю музыку, так это просто ужас! — воскликнула Эмеренция.

— Вы не только ее любите — вы сами превосходная музыкантша, — заметил Петр Васильич.

— Неужели? — спросил Борис Андреич.

— Да, — продолжал Петр Васильич, — и Эмеренция Калимоновна и Пелагея Калимоновна, обе поют и на фортепьяно играют отлично, особенно Эмеренция Калимоновна.

Услышав свое имя, Поленька вспыхнула и чуть не вскочила с места, а Эмеренция скромно потупила глаза.

— Ах, mesdemoiselles, — заговорил Борис Андреич, — неужели вы не будете так добры… не сделаете мне удовольствия…

— Я, право… не знаю… — прошептала Эмеренция и, бросив украдкой взгляд на Петра Васильича, прибавила с упреком: — Ах, какие вы!

Но Петр Васильич, как человек положительный, тотчас обратился к самой хозяйке.

— Пелагея Ивановна, — сказал он, — прикажите вашим дочерям сыграть нам что-нибудь

или спеть.

— Я не знаю, в голосе ли они сегодня, — возразила Пелагея Ивановна, — но можно попробовать.

— Да, попробуйте, попробуйте, — промолвил отец.

— Ах, maman, да как можно…

— Эмеранс, кан же ву ди…[2] — проговорила вполголоса, но очень серьезно Пелагея Ивановна.

У ней была привычка, общая многим матерям, отдавать приказы или делать наставления своим детям при других людях на французском диалекте, хотя бы те люди и понимали по-французски. И это было тем более странно, что сама она довольно плохо знала этот язык и произносила дурно.

Эмеренция встала.

— Что же мы будем петь, maman? — спросила она с покорностью.

— Ваш дуэт: он премиленький. У моих дочерей, — продолжала Пелагея Ивановна, обращаясь к Борису Андреичу, — разные голоса: у Эмеренции дишкант…

— Сопрано, вы хотите сказать?

— Да, да, сомпрано. А у Поленьки контроальт.

---

[2] Примечания: 2

Когда я тебе говорю (от *франц.* Quand je vous dis).

— А! контральт! это очень приятно.

— Я не могу сегодня петь, — промолвила Поленька с усилием, — я охрипла.

Голос ее действительно походил больше на бас, чем на контральт.

— А! Ну в таком случае, Эмеранс, спой нам свою арию, ты знаешь, итальянскую, фаворитную; а Поленька тебе будет аккомпанировать.

— Ту арию, где ты горошком, горошком, — подтвердил отец.

— Бравурную, — объяснила мать.

Обе девицы подошли к фортепьяно. Поленька подняла крышку, положила тетрадку рукописных нот на пюпитр и села, а Эмеренция стала подле нее, едва заметно, но мило рисуясь под устремленными взорами Бориса Андреича и Петра Васильича и по временам поднося платок к губам. Наконец она запела, как большей частью поют барышни, — визгливо и не без завываний. Слова она произносила невнятно, но по иным носовым звукам можно было догадаться, что она поет по-итальянски. Под конец она действительно рассыпалась горошком, к большому удовольствию Калимона Иваныча — он слегка приподнялся в креслах и воскликнул: «Хорошенько его!» — но последнюю трель она пу-

стила ранее, чем бы следовало, так что сестра ее несколько тактов сыграла уже одна. Это, однако же, не помещало Борису Андреичу изъявить свое удовольствие и сказать Эмеренции комплимент; а Петр Васильич, повторив раза два: «Очень, очень хорошо», прибавил: «Нельзя ли теперь нам чего-нибудь русского, „Соловья“, например, или „Сарафанчика“, или какую-нибудь цыганскую песенку? А то эти иностранные штуки, правду сказать, не для нашего брата писаны».

— И я с вами согласен, — промолвил Калимон Иваныч.

— Шанте…[3] ле «Сарафан», — заметила вполголоса и с прежней суровостью мать.

— Нет, не «Сарафан», — подхватил Калимон Иваныч, — а «Мы две цыганки» или «Скинь-ка шапку да пониже поклонись…» — знаешь?

— Папа, уж вы всегда такой! — возразила Эмеренция и спела «Скинь-ка шапку», и довольно порядочно спела. Калимон Иваныч подтягивал ей и подтопывал, а Петр Васильич пришел в совершенный восторг.

— Вот это другое дело! Вот это по-нашенски! — твердил он. — Утешили, Эмеренция Калимонов-

---

[3] Примечания: 3
Спой (от *франц.* chantez).

на!.. Теперь я вижу, что вы имели право назвать себя охотницей и мастерицей! Согласен: охотница и мастерица!

— Ах, какой вы нескромный! — возразила Эмеренция и хотела возвратиться на свое место.

— Апрезан[4] ле «Сарафан», — проговорила мать.

Эмеренция спела «Сарафан» не с таким успехом, как «Скинь-ка шапку», но все-таки с успехом.

— Теперь бы следовало вам сыграть вашу сонату в четыре руки, — заметила Пелагея Ивановна, — но уж это лучше до другого разу, а то, я боюсь, мы надоедим господину Вязовнину.

— Помилуйте... — начал было Борис Андреич. Но Поленька тотчас захлопнула фортепьяно, а Эмеренция объявила, что она устала. Борис Андреич почел за нужное повторить свой комплимент.

— Ах, monsieur Вязовнин, — отвечала она, — вы, я думаю, слышали не таких певиц; я воображаю, после них что значит мое пенье... Конечно, Бомериус, когда он проезжал здесь, говорил мне... Ведь вы, я думаю, слыхали про Бомериуса?

— Нет, какой это Бомериус?

---

[4] Примечания: 4
А теперь (от *франц.* à présent).

— Ах, помилуйте! Отличный скрипач, в Парижской консерватории воспитывался, удивительный музыкант… Он говорил мне, что «mademoiselle, если бы с вашим голосом да поучиться у хорошего учителя, то это было бы просто удивительно». Просто все пальчики мне перецеловал… Но где здесь учиться?

И Эмеренция вздохнула.

— Да, конечно… — вежливо возразил Борис Андреич, — но с вашим талантом… — Он замялся и еще вежливее глянул в сторону.

— Эмеранс, деманде, пуркуа ке-ле-дине,[5] — проговорила Пелагея Ивановна.

— Oui, maman,[6] — возразила Эмеренция и вышла, приятно подпрыгнув перед дверью.

Она бы не подпрыгнула, если б не было гостей. А Борис Андреич направился к Поленьке.

«Коли это семейство Лариных, — подумал он, — так уж не Татьяна ли она?»

И он подошел к Поленьке, которая не без ужаса следила за его приближением.

— Вы прелестно аккомпанировали вашей сестрице, — начал он, — прелестно!

---

[5] Примечания: 5
Спроси, как с обедом (от *франц.* demandez, pourquoi que le diner).

[6] Примечания: 6
Да, мама *(фр.)*.

Поленька ничего не отвечала, только покраснела до самых ушей.

— Мне очень жаль, что мне не удалось услышать ваш дуэт… Из какой он оперы?

Глаза Поленьки беспокойно забегали.

Вязовнин подождал ее ответа; ответа не было.

— Какую вы больше музыку любите? — спросил он, погодя немного, — итальянскую или немецкую?

Поленька потупилась.

— Пелажи, репонде донк,[7] — раздался взволнованный шепот Пелагеи Ивановны.

— Всякую, — торопливо произнесла Поленька.

— Однако как же всякую? — возразил Борис Андреич. — Это трудно предположить. Например, Бетховен — гений первой величины, и между тем он оценен не всеми.

— Нет-с, — отвечала Поленька.

— Искусство бесконечно разнообразно, — продолжал неугомонный Борис Андреич.

— Да-с, — отвечала Поленька.

Разговор между ними длился недолго.

«Нет, — думал Борис Андреич, отходя от нее, — какая это Татьяна! это просто олицетворенный

---

[7] Примечания: 7

Пелагея, отвечай же (от *франц* Pelagie, répondez donc).

трепет…»

А бедная Поленька в тот день, ложась спать, со слезами жаловалась своей горничной, как к ней сегодня гость пристал с музыкой, и как она не знала, что отвечать ему, и как она несчастна бывает, когда приезжают гости: только маменька потом бранится — вот и все удовольствие…

За обедом Борис Андреич сидел между Калимоном Иванычем и Эмеренцией. Обед был русский, без затей, но сытный, и Петру Васильевичу гораздо более пришелся по вкусу, чем ухищренные яства вдовы. Подле него сидела Поленька и, победив, наконец, свою робость, по крайней мере отвечала на его вопросы. Зато Эмеренция так усердно занимала своего соседа, что ему, наконец, пришлось невмочь. У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту кусок слева — словно она заигрывала с ним; и эта привычка очень не нравилась Борису Андреичу. Не нравилось ему также и то, что она беспрестанно говорила о самой себе, с чувством доверяя ему самые мелкие подробности своей жизни; но, как человек вежливый, он нисколько не обнаруживал ощущений своих, так что наблюдавший за ним через стол Петр Васильич решительно не мог отдать себе отчета, какого рода впечатление

производила на него Эмеренция.

После обеда Калимон Иваныч внезапно погрузился в задумчивость, или, говоря прямее, слегка осовел; он привык спать в это время и, хотя заметив, что гости собираются уехать, несколько раз промолвил: «Да, зачем же, господа, почему? в карточки бы?..» — однако в душе был доволен, когда увидал наконец, что они уже шапки в руки взяли. Пелагея Ивановна, напротив, тут-то и оживилась и с особенной настойчивостью удерживала гостей. Эмеренция усердно помогала ей и всячески старалась уговаривать их остаться; даже Поленька сказала им: Mais, messieurs…[8] Петр Васильич не отвечал ни да, ни нет и все поглядывал на своего товарища; зато Борис Андреич вежливо, но твердо настоял на необходимости возвратиться домой. Словом, дело вышло наоборот тому, как оно происходило при прощании с Софьей Кирилловной. Дав слово вскорости повторить свое посещение, гости наконец удалились; приветливые взоры Эмеренции сопровождали их до самой столовой, а Калимон Иваныч вышел даже в переднюю и, посмотрев, как проворный слуга Бориса Андреича закутал господ в шубы,

---

[8] Примечания: 8
Но, господа… *(фр.)*.

навязал им шарфы и натянул на их ноги теплые сапоги, вернулся в свой кабинет и немедленно заснул, между тем как Поленька, пристыженная своею матерью, ушла к себе наверх, а две безмолвные женские личности, одна в чепце, другая в темном платочке, поздравляли Эмеренцию с новой победой.

Приятели ехали молча. Борис Андреич улыбался про себя, заслоненный от Петра Васильича приподнятым воротником енотовой своей шубы, и ждал, что-то он скажет.

— Опять не то! — воскликнул Петр Васильич.

Но на этот раз в голосе его замечалась какая-то нерешительность, и он, силясь взглянуть на Бориса Андреича через воротник своей шубы, прибавил вопросительным голосом:

— Ведь, не правда ли, не то?

— Не то, — со смехом отвечал Борис Андреич.

— Я так и думал, — возразил Петр Васильич и, помолчав немного, прибавил: — Однако, в сущности, почему же не то? Чего недостает этой девице?

— Ей ничего не недостает. Напротив, у ней всего слишком…

— То есть как это слишком?

— Да так!

— Позвольте, Борис Андреич, я вас не понимаю. Если вы говорите насчет образованности, то разве это худо? А что касается до характера, до поведения…

— Эх, Петр Васильич, — возразил Борис Андреич, — я вам удивляюсь, как вы, с вашим ясным взглядом на вещи, не видите насквозь эту сюсюкающую Эмеренцию? Эта приторная любезность, это постоянное самообожание, это скромное убеждение в собственных достоинствах, эта снисходительность ангела, смотрящего на вас с вышины небес… Да что и говорить! Уж если на то пошло и в случае необходимости, я в двадцать раз охотнее женился бы на ее сестре: та, по крайней мере, умеет молчать!

— Конечно, вы правы, — ответил вполголоса бедный Петр Васильич.

Внезапная выходка Бориса Андреича его озадачила.

«Нет, — сказал он самому себе, и сказал это в первый раз после своего знакомства с Вязовниным, — этот мне не пара… слишком учен».

А Вязовнин, с своей стороны, думал, глядя на луну, стоявшую низко над белой чертой небосклона: «И это словно из „Онегина“… „Кругла, красна лицом она…“ — но хорош мой Ленский, и

хорош я, Онегин!»

— Пошел, пошел, Ларюшка, — прибавил он громко.

И Ларюшка, кучер с седой бородой, погнал лошадей.

— Так не то? — шутливо спросил Борис Андреич Петра Васильича, вылезая, с помощью лакея, из саней и взбираясь на крыльцо своего дома, — а, Петр Васильич?

Но Петр Васильич ничего не отвечал и отправился ночевать к себе. А Эмеренция на другой день писала своей приятельнице (она вела огромную и деятельную переписку): «Вчера у нас был новый гость, сосед Вязовнин. Он очень милый и любезный человек, сейчас видно, что очень образованный, и — сказать тебе на ушко? — мне сдается, я произвела на него довольно сильное впечатление. Но не беспокойся, mon amie:[9] мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего».

Этот Валентин был учитель в губернской гимназии. В городе пускался он во все тяжкие, а в деревне вздыхал по Эмеренции, платонически и безнадежно.

---

[9] Примечания: 9
Мой друг *(фр.)*.

А приятели, по обыкновению, сошлись снова на другое утро, и жизнь их потекла прежним порядком.

Прошло две недели. Борис Андреич ежедневно ожидал нового приглашения, но Петр Васильич, казалось, совершенно отступился от своих намерений. Борис Андреич сам начинал заговаривать о вдове, о Тиходуевых, намекая на то, что всякую вещь должно испытать до трех раз; но Петр Васильич и не показывал виду, что понимает его намеки. Наконец Борис Андреич в один день не выдержал и начал так:

— Что же это, Петр Васильич? Видно, теперь моя очередь напоминать вам ваши обещания?

— Какие обещания?

— А помните, вы хотели женить меня? Я жду.

Петр Васильич повернулся на стуле.

— Да ведь вишь вы какие разборчивые! С вами не сообразишь. Бог вас знает! На ваш вкус здесь у нас, должно быть, и невест-то нету.

— Это нехорошо, Петр Васильич. Вы не должны так скоро отчаиваться. С первых двух раз не удалось — это еще не беда. Притом же мне вдова понравилась. Если вы от меня откажетесь, я к ней поеду.

— Что ж, поезжайте, — с богом.

— Петр Васильич, уверяю вас, я не шутя желаю жениться. Повезите меня куда-нибудь еще.

— Да право же, нет больше никого в целом околотке.

— Этого быть не может, Петр Васильич. Будто здесь, по соседству, нет ни одной хорошенькой?

— Как не быть? Да не вам чета.

— Однако назовите какую-нибудь.

Петр Васильич стиснул зубами янтарь чубука.

— Да вот хотя бы Верочка Барсукова, — промолвил он наконец, — чего лучше? Только не для вас.

— Отчего?

— Слишком проста.

— Тем лучше, Петр Васильич, тем лучше!

— И отец такой чудак.

— И это не беда… Петр Васильич, друг мой, познакомьте меня с этой… как бишь вы ее назвали?..

— Барсуковой.

— С Барсуковой… пожалуйста…

И Борис Андреич не дал покоя Петру Васильичу, пока тот не обещал свезти его к Барсуковым.

Дня два спустя они поехали к ним.

Семейство Барсуковых состояло из двух лиц: отца, лет пятидесяти, и дочери, девятнадцати лет.

Петр Васильич недаром назвал отца чудаком: он был действительно чудак первой руки. Окончив блестящим образом курс учения в казенном заведении, он вступил в морскую службу и скоро обратил на себя внимание начальства, но внезапно вышел в отставку, женился, поселился в деревне и понемногу так обленился и опустился, что, наконец, не только никуда не выезжал — не выходил даже из комнаты. В коротеньком заячьем тулупчике и в туфлях без задков, заложив руки в карманы шаровар, ходил он по целым дням из угла в угол, то напевая, то насвистывая, и, что бы ему ни говорили, с улыбкой на все отвечал: «Брау, брау», то есть: браво, браво!

— Знаете ли что, Степан Петрович, — говорил ему, например, заехавший сосед, — а соседи охотно к нему заезжали, потому что хлебосольнее и радушнее его не было человека на свете, — знаете ли, говорят, в Белеве цена на рожь дошла до тринадцати рублей ассигнациями.

— Брау, брау! — спокойно отвечал Барсуков, который только что продал ее по семи с полтиной.

— А слышали вы, сосед ваш, Павел Фомич, двадцать тысяч в карты проиграл?

— Брау, брау! — так же спокойно отвечал Барсуков.

— В Шлыкове падеж, — замечал тут же сидевший другой сосед.

— Брау, брау!

— Лапина барышня с управителем сбежала…

— Брау, брау, брау!

И так без конца. Докладывали ему, что лошадь у него захромала, что приехал жид с товаром, что стенные часы со стены пропали, что мальчик зашвырнул куда-то свои сапоги, — только и слышали от него, что «брау, брау!». И между тем в доме его не было заметно слишком большого беспорядка: мужики его благоденствовали, и долгов он не делал. Наружность Барсукова располагала в его пользу: его круглое лицо, с большими карими глазами, тонким правильным носом и румяными губами, поражало своей почти юношеской свежестью. Свежесть эта казалась еще ярче от снежной белизны его волос; легкая улыбка почти постоянно играла на его губах, и не столько на его губах, сколько в ямочках на щеках; он никогда не смеялся, но иногда, весьма редко, хохотал истерически и всякий раз потом чувствовал себя нездоровым. Говорил он, кроме обычного своего восклицания, очень мало, и то только самое необходимое, придерживаясь притом всевозможных сокращений.

Его дочь, Верочка, очень на него походила и лицом, и выражением темных глаз, казавшихся еще темнее от нежного цвета белокурых волос, и улыбкой. Она была небольшого роста, миловидно сложена; в ней не было ничего особенно привлекательного, но стоило взглянуть на нее или услышать ее голосок, чтобы сказать себе: «Вот доброе существо». Отец и дочь очень любили друг друга. Все домашнее хозяйство находилось на ее руках, и она охотно им занималась… других занятий она не знала. Петр Васильич недаром назвал ее простою.

Когда Петр Васильич с Борисом Андреичем приехали к Барсукову, он, по обыкновению, ходил взад и вперед по своему кабинету. Этот кабинет, который можно было назвать и гостиной, и столовой, потому что в нем принимались гости и накрывался стол, занимал около половины всего небольшого домика Степана Петровича. Мебель в нем была некрасивая, но покойная: во всю длину одной из стен стоял диван, чрезвычайно широкий, мягкий и с великим множеством подушек, — диван, хорошо известный всем окрестным помещикам. Правду сказать, отлично лежалось на этом диване. В остальных комнатах стояли одни стулья, да кой-какие столики, да шкафы; все

эти комнаты были проходные, и в них никто не жил. Маленькая спальня Верочки выходила в сад, и, кроме чистенькой ее кровати, да умывального столика с зеркальцем, да одного кресла, в ней тоже мебели не было; зато везде по углам стояли бутылки с наливками и банки с вареньями, перемеченные рукою самой Верочки.

Войдя в переднюю, Петр Васильич хотел было велеть доложить о себе и о Борисе Андреиче, но случившийся тут мальчик в долгополом сюртуке только взглянул на него и начал стаскивать с него шубу, примолвив: «Пожалуйте-с». Приятели вошли в кабинет к Степану Петровичу. Петр Васильич представил ему Бориса Андреича.

Степан Петрович пожал ему руку, проговорил: «Рад… весьма. Озябли… Водки?» И, указав головой на закуску, стоявшую на столике, принялся снова ходить по комнате. Борис Андреич выпил рюмку водки, за ним Петр Васильич, и оба уселись на широком диване с множеством подушек. Борису Андреичу тут же показалось, как будто он век свой сидел на этом диване и давным-давно знаком с хозяином дома. Точно такое ощущение испытывали все, приезжавшие к Барсукову.

Он был в тот день не один; впрочем, его редко можно было застать одного. У него сидела

какая-то приказная строка, со старушечьим сморщенным лицом, ястребиным носом и беспокойными глазами, совершенно истасканное существо, недавно служившее в теплом местечке, а в настоящее время находившееся под судом. Держась одною рукою за галстук, а другою — за переднюю часть фрака, этот господин следил взором за Степаном Петровичем и, подождав, пока усядутся гости, проговорил с глубоким вздохом:

— Эх, Степан Петрович, Степан Петрович! осуждать человека легко; но знаете ли вы поговорку: «Грешен честный, грешен плут, все грехом живут, яко же и мы»?

— Брау… — произнес было Степан Петрович, но остановился и промолвил: — Поговорка скверная.

— Кто говорит? конечно, скверная, — возразил истасканный господин, — но что прикажете делать! Ведь нужда-то не свой брат: вытравит из тебя честность-то. Вот я готов на сих господ дворян сослаться, если только им угодно будет выслушать обстоятельства моего дела…

— Можно курить? — спросил Борис Андреич хозяина.

Хозяин кивнул головой.

— Конечно, — продолжал господин, — и я, мо-

жет быть, не раз досадовал и на себя, и на свет вообще, чувствовал, так сказать, благородное негодование…

— Подлецами выдумано, — перебил его Степан Петрович.

Господин дрогнул.

— То есть как же это, Степан Петрович? Вы хотите сказать, что благородное негодование выдумано подлецами?

Степан Петрович опять головой кивнул.

Господин помолчал и вдруг засмеялся разбитым смехом, причем обнаружилось, что у него ни одного зуба не оставалось, а говорил он довольно чисто.

— Хе-хе, Степан Петрович, вы всегда такое скажете. Наш стряпчий недаром говорит про вас, что вы настоящий каламбурист.

— Брау, брау! — возразил Барсуков.

В это мгновение дверь отворилась, и вошла Верочка. Твердо и легко выступая, несла она на зеленом круглом подносе две чашки кофе и сливочник. Темно-серое платьице стройно обхватывало ее тонкий стан. Борис Андреич и Петр Васильич поднялись оба с дивана; она присела им в ответ, не выпуская из рук подноса, и, подойдя к столу, поставила на него свою ношу, примолвив:

— Вот вам кофе.

— Брау, — проговорил ее отец. — Еще две, — прибавил он, указывая на гостей. — Борис Андреич, моя дочь.

Борис Андреич вторично ей поклонился.

— Хотите вы кофею? — спросила она, прямо и спокойно глядя ему в глаза. — До обеда часа полтора.

— С болышим удовольствием, — ответил Борис Андреич.

Верочка обернулась к Крупицыну:

— А вы, Петр Васильич?

— И я выпью.

— Сейчас. А давно я вас не видала, Петр Васильич.

Сказав это, Верочка вышла.

Борис Андреич посмотрел ей вслед, и, нагнувшись к своему приятелю, шепнул ему на ухо:

— Да она очень мила!.. И какое свободное обхождение!..

— Привычка! — возразил Петр Васильич, — ведь у них здесь почитай что трактир. Один из дверей, другой в двери.

Как будто в подтверждение слов Петра Васильича в комнату вошел новый гость. Это был человек весьма обширный, или, говоря старин-

ным словом, уцелевшим в наших краях, облый, с большим лицом, с большими глазами и губами, с большими взъерошенными волосами. В чертах его замечалось выражение постоянного неудовольствия — кислое выражение. Одет он был в очень просторное платье и на ходу переваливался всем телом. Он тяжко опустился на диван и только тогда сказал: «Здравствуйте», не обращаясь, впрочем, ни к кому из присутствующих.

— Водки? — спросил его Степан Петрович.

— Нет! какое водки, — отвечал новый гость, — не до водки. Здравствуйте, Петр Васильич, — прибавил он, оглянувшись.

— Здравствуйте, Михей Михеич, — ответил Петр Васильич, — откуда бог несет?

— Откуда? Разумеется, из города. Ведь это вам только, счастливцам, незачем в город ехать. А я, по милости опеки да вот этих судариков, — прибавил он, ткнув пальцем в направлении господина, находившегося под судом, — всех лошадей загнал, в город таскавшись. Чтоб ему пусто было!

— Михею Михеичу наше нижайшее, — проговорил господин, столь бесцеремонно названный судариком.

Михей Михеич посмотрел на него.

— Скажи мне, пожалуйста, одно, — начал он, скрестив руки, — когда тебя, наконец, повесят?

Тот обиделся.

— А следовало бы! Ей-ей, следовало бы! Правительство к вашему брату слишком снисходительно — вот что! Ведь какая тебе от того печаль, что ты под судом? Ровно никакой! Одно только, чай, досадно: теперь уж нельзя хабен зи гевезен, — и Михей Михеич представил рукой, как будто поймал что-то в воздухе и сунул себе в боковой карман. — Шалишь! Эх вы, народец, с борку да с сосенки!

— Вы все изволите шутить, — возразил отставленный приказный, — а того не хотите сообразить, что дающий волен давать, а принимающий — принимать. Притом же я действовал тут не по собственному наущению, а больше одно лицо участвовало, как я и объяснил…

— Конечно, — иронически заметил Михей Михеич. — Лисичка под бороной от дождя хоронилася — все не каждая капля капнет. А сознайся, лихо тебя наш исправник допек? а? Ведь лихо?

Того передернуло.

— Человек к укрощению борзый, — сказал он наконец с запинкой.

— То-то же!

— А со всем тем и про них можно-с…

— Золотой человек, истинная находка, — перебил его Михей Михеич, обращаясь к Степану Петровичу. — На этих молодцов да вот еще на пьяниц — просто гигант!

— Брау, брау! — возразил Степан Петрович.

Верочка вошла с другими двумя чашками кофе на подносе.

Михей Михеич ей поклонился.

— Еще одну, — проговорил отец.

— Что ж это вы сами трудитесь? — сказал ей Борис Андреич, принимая от нее чашку.

— Какой же это труд? — ответила Верочка, — а буфетчику я поручить не хочу: мне кажется, так будет вкусней.

— Конечно, из ваших рук…

Но Верочка не дослушала его любезности, ушла и тотчас вернулась с кофеем для Михея Михеича.

— А слышали вы, — заговорил Михей Михеич, допивая чашку, — ведь Мавра Ильинична без языка лежит.

Степан Петрович остановился и приподнял голову.

— Как же, как же, — продолжал Михей Михеич. — Паралич. Ведь вы знаете, она любила-таки

покушать. Вот сидит она третьего дня за столом, и гости у ней… Подают ботвинью, а уж она две тарелки скушала, просит третью… да вдруг оглянулась и говорит этак не торопясь, знаете: «Примите ботвинью, все люди сидят зеленые…» — да и хлоп со стула. Бросились поднимать ее, спрашивают, что с ней… Руками объясняется, а язык уже не действует. Еще, говорят, уездный лекарь наш при этом случае отличился… Вскочил да кричит: «Доктора! пошлите за доктором!» Совсем потерялся. Ну, да и практика-то его какая! Только и жив, что мертвыми телами.

— Брау, брау! — задумчиво произнес Барсуков.

— И у нас сегодня будет ботвинья, — заметила Верочка, присевшая в углу на кончик стула.

— С чем, с осетриной? — проворно спросил Михей Михеич.

— С осетриной и с балыком.

— Это дело хорошее. Вот говорят, что ботвинья не годится зимой, потому что кушанье холодное. Это вздор… не правда ли, Петр Васильич?

— Совершенный вздор, — ответил Петр Васильич, — ведь здесь в комнате тепло?

— Очень тепло.

— Так почему же в теплой комнате не есть холодного кушанья? Я не понимаю.

— И я не понимаю.

Подобным образом разговор продолжался довольно долго. Хозяин почти в нем не принимал участия и то и дело похаживал по комнате. За обедом все накушались на славу: так все было вкусно, хотя и просто приготовлено. Верочка сидела на первом месте, разливала ботвинью, рассылала блюда, следила глазами, как кушали гости, и старалась предупреждать их желания. Вязовнин сидел подле нее и глядел на нее пристально. Верочка не могла говорить, не улыбаясь, как отец, и это очень шло к ней. Вязовнин изредка обращался к ней с вопросами — не для того, чтобы получить от нее какой-нибудь ответ, но именно для того, чтобы видеть эту улыбку.

После обеда Михей Михеич, Петр Васильич и господин, находившийся под судом, которого настоящее имя было Онуфрий Ильич, сели играть в карты. Михей Михеич уже не так жестоко о нем отзывался, хоть и продолжал трунить над ним; может быть, это происходило оттого, что Михей Михеич за обедом выпил лишнюю рюмку. Правда, он при всякой сдаче объявлял наперед, что все тузы и козыри будут у Онуфрия, что это крапивное семя подтасовывает, что у него уже руки такие грабительские; но зато, сделав с ним

маленький шлем, Михей Михеич совершенно неожиданно похвалил его.

— А ведь что ни говори, конечно, ты дрянь совершенная, — сказал он ему, — а я тебя люблю, ей-богу, потому что, во-первых, у меня такая натура, а во-вторых, коли рассудить, — еще хуже тебя бывают, и даже можно сказать, что ты в своем роде порядочный человек.

— Истину изволили сказать, Михей Михеич, — возразил Онуфрий Ильич, сильно поощренный такими словами, — самую сущую истину; а только, конечно, гонения…

— Ну, сдавай, сдавай, — перебил его Михей Михеич. — Что гонения! Какие гонения! Благодари бога, что не сидишь в Пугачевской башне на цепи… Сдавай.

И Онуфрий Ильич принялся сдавать, проворно мигая глазами и еще проворнее мусля большой палец правой руки своим длинным и тонким языком.

Между тем Степан Петрович ходил по комнате, а Борис Андреич все держался около Веры. Разговор шел между ними урывками (она беспрестанно выходила) и до того незначительный, что и передать его было трудно. Он спрашивал ее о том, кто у них в соседстве живет, часто ли она

выезжает, любит ли она хозяйство. На вопрос, что она читает, она отвечала: «Я бы читала, да некогда». И между тем когда, при наступлении ночи, мальчик вошел в кабинет с докладом, что лошади готовы, ему жаль стало уезжать, жаль перестать видеть эти добрые глаза, эту ясную улыбку. Если б Степан Петрович вздумал его удерживать, он, наверно бы, остался; но Степан Петрович этого не сделал — не потому, чтобы он не был рад своему новому гостю, а потому, что у него так было заведено: кто хотел ночевать, сам прямо приказывал, чтоб ему приготовили постель. Так поступили Михей Михеич и Онуфрий Ильич; они даже легли в одной комнате и разговаривали долго за полночь: их голоса глухо слышны были из кабинета; говорил больше Онуфрий Ильич, словно рассказывал что-то или убеждал в чем, а собеседник его только изредка произносил то недоумевающим, то одобрительным образом: «Гм!» На другое утро они уехали вместе в деревню Михея Михеича, а оттуда в город, тоже вместе.

На возвратном пути и Петр Васильич, и Борис Андреич долго безмолвствовали. Петр Васильич даже заснул, убаюканный звяканьем колокольчика и ровным движением саней.

— Петр Васильич! — сказал наконец Борис

Андреич.

— Что? — проговорил Петр Васильич спросонья.

— Что же вы меня не спрашиваете?

— О чем вас спрашивать?

— Да как в те разы — то ли?

— Насчет Верочки-то?

— Да!

— Вот тебе на! Разве я вам ее прочил? Она для вас не годится.

— Напрасно вы это думаете. Мне она гораздо больше нравится, чем все ваши Эмеренции да Софьи Кирилловны.

— Что вы?

— Я вам говорю.

— Да помилуйте! Ведь она совсем простая девушка. Хозяйкой она может быть хорошей — точно; да ведь разве вам это нужно?

— А почему же и нет? Может быть, я именно этого ищу.

— Да что вы, Борис Андреич! помилуйте! Ведь она по-французски совсем не говорит!

— Так что ж такое? Разве нельзя обойтись без французского языка?

Петр Васильич помолчал.

— Я этого никак не предполагал… от вас; то

есть… мне кажется, вы шутите.

— Нет, не шучу.

— Бог же вас знает после того! А я думал, что она только нашему брату под стать. Впрочем, она точно девчонка хоть куда.

И Петр Васильич поправил на себе шапку, уткнулся головою в подушку и заснул. Борис Андреич продолжал думать о Верочке. Ему все мерещилась ее улыбка, веселая кротость ее глаз. Ночь была светлая и холодная, снег переливал голубоватыми огнями, словно алмазный; на небе вызвездило, и Стожары ярко мерцали, мороз хрустел и скрипел под санями; покрытые оледенелым инеем ветки деревьев слабо звенели, блистая на луне, как стеклянные. В такое время воображение охотно играет. Вязовнин испытал это на себе. Чего-чего он не передумал, пока сани не остановились, наконец, у крыльца; но образ Верочки не выходил у него из головы и тайно сопровождал его мечтания.

Петр Васильич, как уже сказано, удивился впечатлению, произведенному Верочкой на Бориса Андреича; но он удивился еще более два дня спустя, когда тот же Борис Андреич объявил ему, что он непременно желает ехать к Барсукову и что поедет один, если Петр Васильич не

расположен ему сопутствовать. Петр Васильич, разумеется, ответил, что он рад и готов, и приятели опять поехали к Барсукову, опять провели у него целый день. Как в первый раз, застали они у него несколько гостей, которых Верочка также потчевала кофеем, а после обеда вареньем; но Вязовнин разговаривал с ней больше, чем в первый раз, то есть он больше говорил ей. Он рассказывал ей о своей прошедшей жизни, о Петербурге, о своих путешествиях — словом, обо всем, что ему приходило в голову. Она слушала его с спокойным любопытством, то и дело улыбаясь и посматривая на него, но ни на мгновение не забывала обязанностей хозяйки: тотчас вставала, как только замечала, что гостям что-нибудь нужно, и сама все им приносила. Когда она удалялась, Вязовнин не оставлял своего места и мирно поглядывал кругом; она возвращалась, садилась подле него, брала свою работу, и он снова вступал с нею в разговор. Степан Петрович, прогуливаясь по комнате, подходил к ним, вслушивался в речи Вязовнина, бормотал: «Брау, брау!» — и время так и бежало… В этот раз Вязовнин с Петром Васильичем остались ночевать и уехали только на другой день, поздно вечером… Прощаясь, Вязовнин пожал Верочке руку. Она слегка покраснела. Ни

один мужчина не жал ее руки до того дня, но она подумала, что, видно, так в Петербурге заведено.

Оба приятеля часто стали ездить к Степану Петровичу, особенно Борис Андреич совершенно освоился у него в доме. Бывало, так и тянет его туда, так и подмывает. Несколько раз он даже один ездил. Верочка ему нравилась все более и более; уже между ними завелась дружба, уже он начал находить, что она — слишком холодный и рассудительный друг. Петр Васильич перестал говорить с ним о Верочке… Но вот однажды утром, поглядев на него, по обыкновению, некоторое время в безмолвии, он значительно проговорил:

— Борис Андреич!

— Что? — возразил Борис Андреич и слегка покраснел, сам не зная чему.

— Что я вам хотел сказать, Борис Андреич… Вы смотрите… того… ведь нехорошо будет, если, например, что-нибудь…

— Что вы хотите сказать? — возразил Борис Андреич, — я вас не понимаю.

— Да насчет Верочки…

— Насчет Верочки?

И Борис Андреич покраснел еще более.

— Да. Смотрите, ведь беды недолго наделать… обидеть то есть… Извините мою откровенность;

но я полагаю, что мой долг, как приятеля…

— Да с чего вы это взяли, Петр Васильич? — перебил его Борис Андреич. — Верочка — девушка с самыми строгими правилами, да и, наконец, между нами, кроме самой обыкновенной дружбы, нет ничего.

— Ну, полноте, Борис Андреич! — заговорил в свою очередь Петр Васильич, — с какой стати у вас, образованного человека, будет дружба с деревенской девушкой, которая кроме своих четырех стен…

— Опять вы за то же! — вторично перебил его Борис Андреич. — К чему вы тут образованность приплетаете, я не понимаю.

Борис Андреич немножко рассердился.

— Ну, послушайте, однако ж, Борис Андреич, — нетерпеливо промолвил Петр Васильич, — коли на то пошло, я должен вам сказать, скрываться от меня вы имеете полное право, но уж обмануть меня, извините, не обманете. Ведь у меня глаза тоже есть. Вчерашний день (они оба были накануне у Степана Петровича) мне открыл многое…

— А что же именно он открыл вам? — спросил Борис Андреич.

— А то он мне открыл, что вы ее любите и даже ревнуете к ней.

Вязовнин посмотрел на Петра Васильича.

— Ну, а она меня любит?

— Этого я не могу сказать наверное, но странно было бы, если б она не полюбила вас.

— Оттого, что я образован, хотите вы сказать?

— И от этого и оттого, что у вас состояние хорошее. Ну, и наружность ваша тоже может нравиться. А главное — состояние.

Вязовнин встал и подошел к окну.

— Почему же вы могли заметить, что я ревную? — спросил он, внезапно обернувшись к Петру Васильичу.

— А потому, что вы вчера на себя похожи не были, пока этот шалопай Карантьев не уехал.

Вязовнин ничего не ответил, но почувствовал в душе, что приятель его говорил правду. Карантьев этот был недоучившийся студент, веселый и неглупый малый, с душою, но совершенно сбившийся с толку и погибший. Страсти смолоду истощили его силы; он слишком рано остался без призора. У него было цыганское удалое лицо, и весь он походил на цыгана, пел и плясал, как цыган. Он влюблялся во всех женщин. Верочка ему очень нравилась. Борис Андреич познакомился с ним у Барсукова и сначала весьма благоволил к нему; но, заметив однажды особенное выражение

лица, с которым Верочка слушала его песенки, он стал о нем думать иначе.

— Петр Васильич, — сказал Борис Андреич, подойдя к своему приятелю и остановясь перед ним, — я должен сознаться… мне кажется, вы правы. Я это давно сам чувствовал, но вы мне окончательно открыли глаза. Я точно неравнодушен к Верочке; но ведь послушайте, Петр Васильич, что ж из этого? И она и я, мы оба не захотим ничего бесчестного; притом же я вам уже, кажется, говорил, что я с ее стороны не вижу никаких особенных знаков расположения ко мне.

— Все так, — возразил Петр Васильич, — да лукавый силен.

Борис Андреич помолчал.

— Что же мне делать, Петр Васильич?

— Что? Перестать ездить.

— Вы думаете?

— Конечно… Не жениться же вам на ней! — воскликнул он наконец.

Вязовнин опять помолчал.

— А почему бы и не жениться? — воскликнул он наконец.

— Да потому, Борис Андреич, уж я вам сказал: она вам не пара.

— Этого я не вижу.

— А не видите, делайте как знаете. Я вам не опекун.

И Петр Васильич начал набивать трубку.

Борис Андреич сел к окну и погрузился в задумчивость.

Петр Васильич не мешал ему и преспокойно выпускал маленькими облаками дым изо рта. Наконец Борис Андреич встал и с заметным волнением велел закладывать лошадей.

— Куда это? — спросил его Петр Васильич.

— К Барсуковым, — ответил Борис Андреич отрывисто.

Петр Васильич пыхнул раз пяток.

— Ехать мне с вами, что ли?

— Нет, Петр Васильич; я бы желал сегодня ехать один. Мне хочется объясниться с самой Верочкой.

— Как знаете.

«Вот, — сказал он самому себе, проводив Бориса Андреича, — как подумаешь, пошла шутка в дело… А все с жиру!», — прибавил он, укладываясь на диване.

Вечером того же дня Петр Васильич, не дождавшись возвращения своего приятеля, только что собирался лечь в постель у себя дома, как вдруг в комнату, весь запорошенный снегом, ворвался

Борис Андреич и прямо бросился к нему на шею.

— Друг мой, Петр Васильич, поздравь меня! — воскликнул он, в первый раз говоря ему *ты*. — Она согласилась, и старик тоже согласился… Все уже кончено!

— Как… что такое? — пробормотал изумленный Петр Васильич.

— Я женюсь!

— На Верочке?

— На ней… Все уже решено и улажено.

— Не может быть!

— Экой ты человек!.. Говорят тебе, все кончено.

Петр Васильич торопливо надел туфли на босу ногу, накинул халат, крикнул:

— Македония, чаю! — и прибавил: — Ну, коли все уже кончено, стало быть, толковать нечего; дай бог вам лад да совет! Но расскажи мне, пожалуйста, каким образом это случилось?

Замечательно, что с того времени оба приятеля начали говорить друг другу *ты*, как будто иначе никогда и не говорили.

— Изволь, с удовольствием, — отвечал Вязовнин и начал рассказывать.

На самом деле вот как это произошло. Когда Борис Андреич приехал к Степану Петровичу, у него, против обыкновения, не было ни одного

гостя, и сам он не прохаживался по комнате, а сидел в вольтеровских креслах: ему нездоровилось. Он совсем переставал говорить, когда это с ним случалось, и потому, ласково кивнув головой вошедшему Вязовнину, показал ему сперва на стол с закуской, а потом на Верочку и закрыл глаза. Вязовнину только того и нужно было: он подсел к Верочке и вступил с нею в разговор вполголоса. Речь зашла о здоровье Степана Петровича.

— Мне всегда страшно, — говорила шепотом Верочка, — когда ему неможется. Ведь он такой: не пожалуется, не попросит ничего; слова от него не добьешься. Болен будет — не скажет.

— А вы его очень любите? — спросил ее Вязовнин.

— Кого? Папеньку? Да больше всех на свете. Сохрани бог, если что с ним случится! Я, кажется, умру.

— Стало быть, вам бы невозможно было с ним расстаться?

— Расстаться? Для чего же расстаться?

Борис Андреич поглядел ей в лицо.

— Девушке нельзя век жить в родительском доме.

— А! Вот вы на какой счет говорите… Ну, в этом случае я покойна… Кто меня возьмет?

«Я!» — чуть было не сказал Борис Андреич, но удержался.

— Что вы задумались? — спросила она, с обычной своей улыбкой посмотрев на него.

— Я думаю, — возразил он, — я думаю… что… — И, вдруг переменив тон, он спросил ее, давно ли она знакома с Карантьевым.

— А право, не помню… Ведь их так много к папеньке ездит. Кажется, он к нам в прошлом году в первый раз приехал.

— Скажите: он вам нравится?

— Нет, — отвечала Верочка, подумав.

— Отчего?

— Он такой неопрятный, — простодушно возразила она. — Впрочем, он должен быть хороший человек и поет так славно… сердце шевелится, когда он поет.

— А! — промолвил Вязовнин и, подождав немного, прибавил: — Да кто ж вам нравится?

— Многие нравятся, — вы мне нравитесь.

— Мы с вами, известное дело, друзья. Но неужели никто больше других не нравится?

— Какие вы любопытные!

— А вы очень холодны.

— Как это? — невинно спросила Верочка.

— Послушайте… — начал было Вязовнин.

Но в это мгновение Степан Петрович повернулся в креслах.

— Послушайте, — продолжал он чуть слышно, между тем как кровь у него так и стучала в горле, — мне что-то нужно вам сказать, очень важное… только не здесь.

— Где же?

— Да хоть в соседней комнате.

— Что такое? — спросила Верочка, приподнимаясь, — стало быть, секрет?

— Да, секрет.

— Секрет, — повторила Верочка с удивлением и вышла в соседнюю комнату.

Вязовнин последовал за ней как в лихорадке.

— Ну, что такое? — спросила она его с любопытством.

Борис Андреич хотел было повести дело издалека; но, глянув в это молодое лицо, оживленное той легкой улыбкой, которую он так любил, в эти ясные глаза, глядевшие таким мягким взором, он потерялся и совершенно неожиданно для самого себя, без всяких приготовлений, прямо спросил Верочку:

— Вера Степановна, хотите быть моей женой?

— Как? — спросила Верочка, вспыхнув вся и покраснев до ушей.

— Хотите ли вы быть моей женой? — машинально повторил Вязовнин.

— Я… я, право, не знаю, я не ожидала… это так… — прошептала Вера, протягивая руки к оконнице, чтобы не упасть, — и вдруг бросилась вон из комнаты к себе в спальню.

Борис Андреич постоял немного на месте и в большом смущении вернулся в кабинет. На столе лежал нумер «Московских ведомостей». Он взял этот нумер, сел и стал глядеть на строки, не только не понимая, что там напечатано, но даже вообще не имея понятия о том, что с ним такое происходило. С четверть часа провел он в таком положении; но вот сзади его раздался легкий шелест, и он, не оглядываясь, почувствовал, что это вошла Вера.

Прошло еще несколько мгновений. Он глянул вскользь из-за листа «Ведомостей». Она сидела у окна, отвернувшись, и казалась бледной. Он, наконец, собрался с духом, встал, подошел к ней и опустился на стул возле нее…

Степан Петрович не шевелился, сидя с закинутою головою в креслах.

— Извините меня, Вера Степановна, — начал Вязовнин с некоторым усилием, — я виноват, я не должен был так внезапно… и притом… я,

конечно, не имел повода…

Верочка ничего не отвечала.

— Но если уж оно так случилось, — продолжал Борис Андреич, — то я бы желал знать, какой ответ…

Верочка тихо потупилась; щеки ее опять вспыхнули.

— Вера Степановна, одно слово.

— Я, право, не знаю, — начала она, — Борис Андреич… это зависит от папеньки…

— Нездорова? — раздался вдруг голос Степана Петровича.

Верочка вздрогнула и быстро подняла голову. Глаза Степана Петровича, устремленные на нее, выражали беспокойство. Она тотчас подошла к нему.

— Вы меня спрашиваете, папенька?

— Нездорова? — повторил он.

— Кто? я? Нет… Почему вы думаете?

Он пристально посмотрел на нее.

— Точно здорова? — спросил он еще раз.

— Конечно; как *вы* себя чувствуете?

— Брау, брау, — тихо проговорил он и опять закрыл глаза.

Верочка направилась к дверям. Борис Андреич остановил ее.

— Скажите мне, по крайней мере, позволите ли вы мне поговорить с вашим батюшкой?

— Как вам угодно, — прошептала она, — только, Борис Андреич, мне кажется, я вам не пара.

Борис Андреич хотел было взять ее за руку; но она уклонилась и вышла вон.

«Странное дело! — подумал он, — и она то же говорит, что Крупицьн!»

Оставшись наедине с Степаном Петровичем, Борис Андреич дал себе слово объясниться с ним потолковее и, по мере возможности, приготовить его к столь неожиданному предложению; но на деле оно оказалось еще труднее, чем с Верочкой. Степан Петрович чувствовал небольшой жар и не то задумывался, не то дремал, нехотя и не скоро отвечал на различные вопросы и замечания, посредством которых Борис Андреич надеялся постепенно перейти к настоящему предмету разговора… Словом, Борис Андреич, видя, что все его намеки пропадают даром, решился, поневоле, приступить к делу прямо.

Несколько раз забирал он в себя дух, как бы готовясь говорить, останавливался и не произносил ни слова.

— Степан Петрович, — начал он наконец, — я намерен сделать вам предложение, которое вас

очень удивит.

— Брау, брау, — спокойно проговорил Степан Петрович.

— Такое предложение, которого вы никак не ожидаете.

Степан Петрович раскрыл глаза.

— Только вы, пожалуйста, не рассердитесь на меня…

Глаза Степана Петровича расширились еще более.

— Я… я намерен просить у вас руки вашей дочери Веры Степановны.

Степан Петрович быстро поднялся с вольтеровских своих кресел…

— Как? — спросил он точно таким же голосом и с таким же выражением лица, как Верочка.

Борис Андреич принужден был повторить свое предложение.

Степан Петрович уставился на Вязовнина и долго молча смотрел на него, так что ему стало, наконец, неловко.

— Вера знает? — спросил Степан Петрович.

— Я объяснился с Верой Степановной, и она мне позволила обратиться к вам.

— Сейчас объяснились?

— Да, вот теперь.

— Подождите, — проговорил Степан Петрович и вышел.

Борис Андреич остался одни в кабинете чудака. В оцепенении глядел он то на стены, то на пол, как вдруг раздался топот лошадей у крыльца, дверь передней застучала, густой голос спросил: «Дома?», послышались шаги, и в кабинет ввалился уже знакомый нам Михей Михеич.

Борис Андреич так и обмер с досады.

— Экая здесь теплынь! — воскликнул Михей Михеич, опускаясь на диван. — А, здравствуйте! А где же Степан Петрович?

— Он вышел, сейчас придет.

— Ужасный холод сегодня, — заметил Михей Михеич, наливая себе рюмку водки.

И, едва успев проглотить ее, с живостью проговорил:

— А ведь я опять из города.

— Из города? — возразил Вязовнин, с трудом скрывая свое волнение.

— Из города, — повторил Михей Михеич, — и все по милости этого разбойника Онуфрия. Представьте вы себе, наговорил мне чертову тьму, турусы на колесах такие подпустил, что ай-люли ты, моя радость! Аферу, говорит, такую для вас сыскал, какой еще на свете подобной не бывало,

просто сотнями загребай целковенькие; а окончилась вся афера тем, что у меня же двадцать пять рублев занял, да в город я напрасно протаскался, лошадей совершенно заморил.

— Скажите! — пробормотал Вязовнин.

— Я вам говорю: разбойник, разбойник как есть. Ему только с кистенем по дорогам ходить. Я, право, не понимаю, чего полиция смотрит. Ведь этак наконец по миру от него пойдешь, ей-богу!

Степан Петрович вошел в комнату.

Михей Михеич начал ему рассказывать свои похождения с Онуфрием.

— И отчего это ему никто шеи не намнет! — воскликнул он.

— Шеи не намнет, — повторил Степан Петрович и вдруг покатился со смеху.

Михей Михеич тоже засмеялся, на него глядя, и повторил даже: «Именно, следовало бы ему шею намять»; но когда Степан Петрович упал, наконец, на диван в судорогах истерического смеха, Михей Михеич обратился к Борису Андреичу и промолвил, слегка расставив руки:

— Вон он всегда так: засмеется вдруг, чему — господь знает. Такая уж у него фанаберика!

Верочка вошла, вся встревоженная, с покрасневшими глазами.

— Папенька сегодня не совсем здоров, — заметила она вполголоса Михею Михеичу.

Михей Михеич кивнул головой и положил себе в рот кусок сыра. Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, отдохнул и начал ходить по комнате. Борис Андреич избегал его взоров и сидел как на иголках. Михей Михеич принялся опять бранить Онуфрия Ильича.

Сели за стол; за столом тоже разговаривал один Михей Михеич. Наконец, уже перед вечером, Степан Петрович взял Бориса Андреича за руку и молча вывел его в другую комнату.

— Вы хороший человек? — спросил он, глядя ему в лицо.

— Я честный человек, Степан Петрович, — отвечал Борис Андреич, — за это я могу ручаться, — и люблю вашу дочь.

— Любите? точно?

— Люблю и постараюсь заслужить ее любовь.

— Не наскучит? — спросил опять Степан Петрович.

— Никогда!

Лицо Степана Петровича болезненно сжалось.

— Ну, смотрите же… Любите… я согласен.

Борис Андреич хотел было обнять его; но он сказал:

— После… хорошо.

И, отвернувшись, подошел к стене. Борис Андреич мог заметить, что он плакал.

Степан Петрович утер глаза не оборачиваясь, потом пошел назад, в кабинет, мимо Бориса Андреича и, не взглянув на него, проговорил с своей обычной улыбкой:

— Пожалуйста, уж сегодня больше не надо… завтра… всё… что нужно…

— Хорошо, хорошо, — поспешно возразил Борис Андреич и, войдя вслед за ним в кабинет, обменялся взглядом с Верочкой.

На душе его было радостно, но и смутно в то же время. Он не мог остаться долго у Степана Петровича, в обществе Михея Михеича; ему непременно нужно было уединиться, — притом его тянуло к Петру Васильичу. Он уехал, обещаясь на другой день вернуться. Прощаясь с Верочкой в передней, он поцеловал ее руку; она посмотрела на него.

— До завтра, — сказал он ей.

— Прощайте, — тихо отвечала она.

— Вот, видишь ли, Петр Васильич, — говорил Борис Андреич, окончив свой рассказ и шагая взад и вперед по его спальне, — мне что пришло в голову: молодой человек часто отчего не же-

нится? Оттого, что ему страшно кажется жизнь свою закабалить; он думает: «К чему торопиться! Еще успею, может быть, чего-нибудь лучшего дождусь». А кончается обыкновенно история тем, что либо состареется бобылем, либо женится на первой встречной; это все самолюбие да гордость! Послал тебе бог милую и добрую девушку, не упускай случая, будь счастлив и не прихотничай слишком. Лучше Верочки не найду я себе жены; а если ей недостает чего-нибудь со стороны воспитания, то уж мое дело будет об этом позаботиться. Нрав у ней довольно флегматический, но это не беда — напротив! Вот почему я так скоро и решился. Ты же мне советовал жениться. А если я обманулся, — прибавил он, остановился и, подумав немного, продолжал: — беда невелика! из моей жизни и так ничего бы не вышло.

Петр Васильич слушал своего приятеля молча, изредка попивая из надтреснувшего стакана прескверный чай, приготовленный усердной Македонией.

— Что ж ты молчишь? — спросил его наконец Борис Андреич, остановившись перед ним. — Ведь не правда ли, я дело говорю? Ведь ты со мной согласен?

— Предложение сделано, — возразил Петр Васи-

льич с расстановкой, — отец благословил, дочь не отказала, стало быть, рассуждать уж более нечего. Может быть, оно точно все к лучшему. Теперь надо о свадьбе думать, а не рассуждать; но утро вечера мудренее… Завтра потолкуем как следует. Эй! кто там? проводите Бориса Андреича.

— Да хоть обними меня, поздравь, — возразил Борис Андреич, — какой ты право!

— Обнять я тебя обниму, с удовольствием. — И Петр Васильич обнял Бориса Андреича. — Дай бог тебе всего хорошего на сей земле!

Приятели разошлись.

— Все оттого, — сказал самому себе вслух Петр Васильич, полежав некоторое время в постели и переворачиваясь на другой бок, — все оттого, что в военной службе не служил! Блажить привык и порядков не знает.

Спустя месяц Вязовнин женился на Верочке. Он сам настоятельно требовал, чтобы свадьбы не откладывали дальше. Петр Васильич был у него шафером. В течение всего этого месяца Вязовнин каждый день ездил к Степану Петровичу; но в обращении его с Верочкой и Верочки с ним не замечалось перемены: она стала застенчивее с ним — вот и все. Он привез ей «Юрия Милославского» и сам прочел ей несколько глав. Роман

Загоскина ей понравился; но, кончив его, она не попросила другого. Карантьев приезжал раз взглянуть на Верочку, ставшую невестой другого, и, должно признаться, приезжал хмельной, все смотрел на нее, как бы собираясь сказать ей что-то, но не сказал ничего; его попросили спеть, он затянул какую-то заунывную песню, потом грянул удалую, бросил гитару на диван, распростился со всеми и, сев в сани, повалился грудью на постланное сено, зарыдал — и через четверть часа уже спал мертвым сном.

Накануне свадьбы Верочка была очень грустна, и Степан Петрович также упал духом. Он надеялся, что Борис Андреич согласится переехать к ним на жительство; но он ни слова не сказал об этом и, напротив, предложил Степану Петровичу на время поселиться в Вязовне. Старик отказался: он привык к своему кабинету. Верочка обещалась посещать его, по крайней мере, раз в неделю. Как уныло отец ответил ей: «Брау, брау!»

Вот и начал жить Борис Андреич женатым человеком. В первое время все шло прекрасно. Верочка, как отличная хозяйка, привела весь его дом в порядок. Он любовался ее нешумливой, но заботливой деятельностью, ее постоянно ясным и кротким нравом, называл ее своей маленькой

голландкой и беспрестанно повторял Петру Васильичу, что он теперь только узнал счастье. Должно заметить, что Петр Васильич со дня свадьбы Бориса Андреича уже не так часто к нему ходил и не так долго у него засиживался, хотя Борис Андреич по-прежнему очень радушно принимал его, хотя Верочка искренно его любила.

— Твоя жизнь теперь уже не та, — говаривал он Вязовнину, дружелюбно упрекавшему его в том, что он охладел к нему, — ты женатый человек, я холостой. Я могу мешать.

Вязовнин ему сперва не противоречил; но вот он понемногу начал замечать, что без Крупицына ему было скучно дома. Жена нисколько его не стесняла; напротив, он иногда о ней забывал вовсе и по целым утрам не говорил с ней ни слова, хотя всегда с удовольствием и нежностью глядел ей в лицо и всякий раз, бывало, когда она своей легкой поступью проходила мимо его, ловил и целовал ее руку, что непременно вызывало улыбку на ее губы. Улыбка эта была все та же, которую он так любил; но довольно ли одной улыбки?

Между ними было слишком мало общего, и он начал догадываться об этом.

«А ведь нечего сказать, у жены моей мало ресурсов», — подумал Борис Андреич однажды,

сидя, скрестив руки, на диване.

Слова Верочки, сказанные ею в день предложения: «Я вам не пара», — зазвучали у него в душе.

«Если бы я был какой немец или ученый, — так продолжал он свои размышления, — или если б у меня было постоянное занятие, которое поглощало бы большую часть моего времени, подобная жена была бы находка; но так! Неужто я обманулся?..» Эта последняя мысль была для него мучительнее, чем он ожидал.

Когда в то же утро Петр Васильич опять повторил ему, что он им мешать может, он не в состоянии был удержаться и воскликнул:

— Помилуй! Ты нисколько не мешаешь нам; напротив, при тебе нам обоим гораздо веселее… — он чуть было не сказал: легче. И это было действительно так.

Борис Андреич охотно беседовал с Петром Васильичем точно таким же образом, как беседовали они до свадьбы; и Верочка умела говорить с ним, а мужа своего она уж очень уважала и, при всей своей несомненной привязанности к нему, не знала, что ему сказать, чем занять его…

Кроме того, она видела, что присутствие Петра Васильича его оживляло. Кончилось тем, что Петр Васильич стал совершенно необходимым

лицом в доме Бориса Андреича. Верочку он полюбил, как дочь свою; да и нельзя было не любить такое доброе существо. Когда Борис Андреич, по слабости человеческой, доверял ему, как другу, свои заветные мысли и жалобы, Петр Васильич сильно упрекал его в неблагодарности, вычислял перед ним все достоинства Верочки и однажды, в ответ на замечание Бориса Андреича, что ведь и он, Петр Васильич, находил их не созданными друг для друга, с сердцем ответил ему, что он ее не стоит.

— Я ничего не нашел в ней, — пробормотал Борис Андреич.

— Как ничего не нашел? Да разве ты ожидал от нее чего-нибудь необыкновенного? Ты в ней нашел прекрасную жену. Вот что!

— Это правда, — торопливо возразил Вязовнин.

В доме Вязовнина все шло по-прежнему — мирно и тихо, потому что с Верочкой не только не было возможности ссориться — даже недоразумений между ею и ее мужем существовать не могло; но внутренний разрыв чувствовался во всем. Так в целом существе человека замечается влияние невидимой внутренней раны. Верочка не имела привычки жаловаться; притом она даже мыслен-

но ни в чем не обвиняла Вязовнина, и ему ни разу в голову не пришло, что ей не совсем легко жить с ним. Два человека только ясно понимали ее положение: старик отец и Петр Васильич. Степан Петрович с каким-то особенным соболезнованием ласкал ее и заглядывал ей в глаза, когда она к нему приезжала, — не расспрашивал ее ни о чем, но чаще вздыхал, расхаживал по комнате, и его «брау, брау!» не звучало, как прежде, невозмутимым спокойствием души, удалившейся от всего земного. Разлученный с дочерью, он как будто вдруг побледнел и похудел. От Петра Васильича тоже не скрылось, что происходило у нее в душе. Верочка не требовала вовсе, чтоб муж много занимался ею или даже разговаривал с нею, но ее томила мысль, что она ему в тягость. Петр Васильич однажды застал ее неподвижно стоявшей лицом к стене. Как отец, на которого она чрезвычайно походила, она не любила показывать слез своих и отворачивалась, когда плакала, даже если была одна в комнате… Петр Васильич тихо прошел мимо ее и ни малейшим намеком не подал ей потом повода думать, что он понял, зачем она стояла лицом к стене. Зато он Вязовнину не давал покою; правда, он ни разу не произнес перед ним тех обидно-раздражающих,

ненужных и самодовольных слов: «Ведь я тебе это все наперед предсказывал!» — тех слов, которые, заметим кстати, самые лучшие женщины, в мгновение самого горячего участия, не могут не выговорить; но он беспощадно нападал на Бориса Андреича за его равнодушие и хандру и раз довел его до того, что он побежал к Верочке и с беспокойством стал оглядывать и расспрашивать ее. Она так кротко посмотрела на него и так спокойно ему отвечала, что он ушел, внутренно взволнованный упреками Петра Васильича, но довольный тем, что, по крайней мере, Верочка ничего не подозревала…Так прошла зима.

Подобные отношения долго длиться не могут: они либо кончаются разрывом, либо изменяются, редко к лучшему…

Борис Андреич не сделался раздражительным и взыскательным, как это часто случается с людьми, чувствующими себя неправыми, не позволил также себе дешевого и, часто даже у умных людей, грубого удовольствия глумления и подсмеивания, не впал в задумчивость; его просто начала занимать мысль: как бы уехать куда-нибудь, разумеется на время.

«Путешествие!» — твердил он, вставая поутру. «Путешествие!» — шептал он, ложась в постель,

и в этом слове таилось обаятельное для него очарование. Он попытался было съездить для развлечения к Софье Кирилловне, но ее красноречие и развязность, ее улыбочки и ужимочки показались ему очень приторны. «Какое сравнение с Верочкой!» — думал он, глядя на расфранченную вдову, и между тем мысль уехать от этой самой Верочки не покидала его…

Дыхание наступившей весны — той весны, что тянет и манит самих птиц из-за морей, — развеяло его последние сомнения, вскружило ему голову. Он уехал в Петербург под предлогом какого-то важного и безотлагательного дела, о котором до того времени не было и помину… Расставаясь с Верочкой, он вдруг почувствовал, что сердце его сжалось и облилось кровью: жаль ему стало тихой и доброй своей жены, слезы хлынули из его глаз и оросили ее бледный лоб, к которому он только что прикоснулся губами… «Я скоро, скоро вернусь и писать буду, — твердил он, — душа моя!» — и, поручив ее вниманию и дружбе Петра Васильича, сел в коляску, растроганный и грустный… Грусть его замерла мгновенно при виде первых нежно-зеленых ракит на большой дороге, пролегавшей в двух верстах от его деревни; непонятный, почти юношеский восторг заставил

забиться его сердце; грудь его приподнялась, и он с жадностью устремил глаза вдаль.

— Нет, — воскликнул он, — я вижу, что

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань…

А какой он был *конь?*

Вера осталась одна; но, во-первых, Петр Васильич посещал ее часто, а главное — старик отец решился оторваться от своего любимого обиталища и переехал на время в дом к дочери. Славно зажили они втроем. Вкусы их, привычки так согласовались! И между тем Вязовнин не только не был забыт ими, — напротив, он служил им всем невидимой духовной связью: они беспрестанно толковали о нем, о его уме, доброте, образованности и простоте в обращении. Бориса Андреича в отсутствие его из дому как будто еще больше полюбили. Погода наступила прекрасная; дни не летели, нет, они проходили мирно и радостно, как высокие, светлые облака на голубом и светлом небе. Вязовнин писал изредка; его письма читались и перечитывались с великим удовольствием. Он в каждом из них говорил о своем близком возвращении… Наконец, в один день, Петр Васильич получил от него следующее

письмо:

«Милый друг, добрейший мой Петр Васильич! Я долго думал, как начать это письмо, но, видно, лучше всего сказать тебе прямо, что я еду за границу. Это известие, я знаю, тебя удивит и даже рассердит: ты этого никак не мог ожидать — и ты будешь совершенно прав, назвав меня легкомысленным и беспутным человеком; я и не намерен вовсе оправдываться, и даже в эту минуту сам чувствую, что краснею. Но выслушай меня с некоторым снисхождением. Во-первых, я еду на весьма короткое время, и в таком обществе, и так выгодно, что ты представить не можешь; а во-вторых, я твердо убежден в том, что, подурачившись в последний раз, удовлетворив в последний раз страсти моей видеть все и все испытать, я сделаюсь отличным мужем, семьянином и домоседом и докажу, что умею ценить ту незаслуженную милость ко мне судьбы, даровавшей мне такую жену, какова Верочка. Пожалуйста, убеди и ее в этом и покажи ей это письмо. Сам я к ней теперь

не пишу: не имею на то духа, но напишу непременно из Штеттина, куда пароход отправляется; а пока скажи ей, что я становлюсь перед ней на колени и униженно прошу ее не сетовать на своего глупого мужа. Зная ее ангельский нрав, я уверен, она простит меня; а я клянусь всем на свете, что через три месяца, никак не позже, вернусь в Вязовну, и тогда меня силой оттуда не вытащишь до конца дней моих. Прощай, или лучше — до скорого свидания; обнимаю тебя и целую милые ручки моей Верочки. Я вам из Штеттина напишу, куда мне адресовать письма. В случае каких-нибудь непредвиденных дел и вообще насчет хозяйства я надеюсь на тебя, как на каменную стену.

Твой

Борис Вязовнин.

P.S. Вели оклеить к осени мой кабинет обоями… слышишь?.. непременно».

Увы! надеждам, высказанным Борисом Андреичем в этом письме, не суждено было исполниться. Из Штеттина он, по множеству хлопот и новых

впечатлений, не успел написать Верочке; но из Гамбурга к ней послал письмо, в котором извещал ее о своем намерении посетить — для осмотра некоторых промышленных заведений, а также для выслушания некоторых нужных лекций — Париж, куда и просил адресовать впредь письма — poste restante.[10] Вязовнин приехал в Париж утром и, избегав в течение дня бульвары, Тюльерийский сад, площадь Согласия, Пале-Рояль, взобравшись даже на Вандомскую колонну, солидно и с видом habitue[11] пообедал у Вефура, а вечером отправился в Шато-де-флер — посмотреть, в качестве наблюдателя, что такое в сущности «канкан» и как парижане исполняют этот танец. Самый танец не понравился Вязовнину; но одна из парижанок, исполнявших канкан, живая, стройная брюнетка с вздернутым носом и бойкими глазами, ему понравилась. Он стал все чаще и чаще возле нее останавливаться, менялся с нею сперва взглядами, потом улыбками, потом словами… Полчаса спустя она уже ходила с ним

---

[10] Примечания: 10
До востребования *(фр.)*.

[11] Примечания: 11
Завсегдатая *(фр.)*.

под руку, сказала ему son petit nom: Julie[12] — и намекала на то, что она голодна и что ничего не может быть лучше ужина à la Maison d'or, dans un petit cabinet particulier.[13] Борис Андреич сам вовсе не был голоден, да и ужин в обществе мамзель Жюли не входил в его соображения… «Однако если уже таков здесь обычай, — подумал он, — то, я полагаю, надо будет отправиться». — Partons![14] — проговорил он громко, но в то же мгновенье кто-то весьма больно наступил ему на ногу. Он вскрикнул, обернулся и увидал перед собою господина средних лет, приземистого, плечистого, в тугом галстуке, в статском, доверху застегнутом сюртуке и широких панталонах военного покроя. Надвинув шляпу на самый нос, из-под которого двумя маленькими каскадами ниспадали крашеные усы, и оттопырив карманы панталон большими пальцами волосатых рук, господин этот, по всем признакам пехотный офицер, в упор уставился на Вязовнина. Выражение его желтых глаз, его жестких, плоских щек, его

---

[12] Примечания: 12
свое имя: Жюли *(фр.)*.

[13] Примечания: 13
В «Золотом доме», в маленьком отдельном кабинете *(фр.)*.

[14] Примечания: 14
Поедем! *(фр.)*.

синеватых выпуклых скул, всего его лица, было очень дерзко и грубо.

— *Вы* наступили мне на ногу? — проговорил Вязовнин.

— Oui, monsieur.[15]

— Но в таких случаях… люди извиняются.

— А если я не хочу извиняться перед вами, monsieur le Moscovite?[16]

Парижане тотчас узнают русских.

— Вы, стало быть, желали меня оскорбить? — спросил Вязовнин.

— Oui, monsieur: форма вашего носа мне не нравится.

— Fi, le gros jaloux![17] — пролепетала мамзель Жюли, для которой пехотный офицер, по-видимому, не был чужим человеком.

— Но тогда… — начал Вязовнин, как бы недоумевая…

— Вы хотите сказать, — подхватил офицер, — тогда надо драться. Конечно. Очень хорошо-с. Вот моя карточка.

---

[15] Примечания: 15
Да, сударь *(фр.)*.

[16] Примечания: 16
Господин россиянин? *(фр.)*.

[17] Примечания: 17
Фи, толстый ревнивец! *(фр.)*.

— А вот моя, — отвечал Вязовнин, не переставая недоумевать и, словно во сне, с смутным биением сердца выскребывая только что купленным для часовой брелоки золотым карандашиком на глянцевитой бумаге своей визитной карточки слова: Htel des Trois Monarques,[18] № 46.

Офицер кивнул головой, объявил, что будет иметь честь прислать своих секундантов к m-r… m-r… (он поднес карточку Вязовнина к своему правому глазу) m-r de Vazavononin, и повернулся спиной к Борису Андреичу, который тут же покинул Шато-де-флер. Мамзель Жюли попыталась удержать его — но он очень холодно посмотрел на нее… Она немедленно от него отвернулась и долго потом, присев в стороне, что-то объясняла сердитому офицеру, который по-прежнему не вынимал руки из панталон, водил усами и не улыбался.

Выйдя на улицу, Вязовнин под первым попавшимся газовым рожком вторично и с большим вниманием прочел врученную ему карточку. На ней стояли следующие слова: Alexandre Leb*o* euf, capitaine en second au 83-me de ligne.[19]

---

[18] Примечания: 18
Гостиница Трех монархов *(фр.)*.

[19] Примечания: 19
Александр Лебёф, штабс-капитан 83-го линейного полка *(фр.)*.

«Неужели это может иметь какие-нибудь последствия? — думал он, возвратившись в свою гостиницу. — Неужели я точно буду драться? и из-за чего? и на другой же день после моего приезда в Париж! Какая глупость!» Он начал было письмо к Верочке, к Петру Васильичу — и тотчас разорвал и бросил начатые листы. «Вздор! комедия!» — повторил он и лег спать. Но мысли его приняли другой оборот, когда на следующее утро, за завтраком, явились к нему двое господ, весьма похожих на мосье Лебёфа, только помоложе (все французские пехотные офицеры на одно лицо), и, объявив свои имена (одного звали m-r Lecoq, другого m-r Pinochet — оба служили лейтенантами «au 83-me de ligne»[20]), отрекомендовали себя Борису Андреичу в качестве секундантов «de notre ami, m-r Leb*o* euf»,[21] присланных им для принятия нужных мер, так как их приятель, мосье Лебёф, никаких извинений не допустит. Вязовнин вынужден был, с своей стороны, объявить господам офицерам, приятелям мосье Лебёфа, что, будучи совершенным новичком в Париже, он еще не успел осмотреться и запастись секундан-

---

[20] Примечания: 20
г-н Лекок... г-н Пиноше... «в 83-м линейном» *(франц.).*

[21] Примечания: 21
«Нашего друга, господина Лебёфа» *(фр.).*

том («Ведь одного достаточно?» — присовокупил он. «Совершенно достаточно», — ответствовал мосье Пиношэ), и потому он должен попросить господ офицеров дать ему часа четыре сроку. Господа офицеры переглянулись, пожали плечами, однако согласились и встали с мест.

— Si monsieur le desire,[22] — проговорил внезапно господин Пиношэ, остановившись перед дверью (из двух секундантов он был, очевидно, самый бойкий на язык, и ему было поручено вести переговоры — мосье Лекок только похрюкивал одобрительно), — si monsieur le desire, — повторил он (тут Вязовнину вспомнился мосье Галиси, его московский куафер, который часто употреблял эту фразу), — мы можем отрекомендовать одного из офицеров нашего полка — le lieutenant Barbichon, un garçon très devoue,[23] который, наверное, согласится оказать услугу «à un gentleman»[24] (господин Пиношэ выговорил это слово на французский лад: жантлеман) — вывести его из затруднения и, став вашим

---

[22] Примечания: 22
Если вам, сударь, угодно *(фр.)*.

[23] Примечания: 23
Лейтенанта Барбишона, очень преданного малого *(фр.)*.

[24] Примечания: 24
«джентльмену» *(англ.)*.

секундантом, примет ваши интересы к сердцу — prendpa à c*o* eur vos interets.

Вязовнин сперва изумился подобному предложению, но, сообразив, что у него в Париже нет знакомых, поблагодарил господина Пиношэ и сказал, что будет ожидать господина Барбишона. И господин Барбишон не замедлил явиться. Этот garçon très devoue[25] оказался чрезвычайно юркой и деятельной личностью. Объявив, что «cet animal de Leb*o* euf n'en fait jamais d'autres... c'est un Othello, monsieur, un veritable Othello»,[26] — он спросил Вязовнина: «N'est-ce pas, vous desirez que l'affaire soit serieuse?»[27] — и, не дождавшись ответа, воскликнул: «C'est tout ce que je desirais savoir! Laissez moi faire!»[28]

И точно: он так живо повел дело, так горячо принял к сердцу интересы Вязовнина, что два часа спустя бедный Борис Андреич, отроду не

---

[25] Примечания: 25
очень преданный малый *(франц.)*.

[26] Примечания: 26
Это животное Лебёф всегда так поступает... это Отелло, сударь, настоящий Отелло *(фр.)*.

[27] Примечания: 27
«Вы, конечно, желаете, чтобы дело было всерьез?» *(фр.)*.

[28] Примечания: 28
«Это все, что мне хотелось знать! Предоставьте мне действовать!» *(фр.)*.

умевший фехтовать, уже стоял на самой середине зеленой полянки в Венсенском лесу, со шпагой в руке, с засученными рукавами рубашки и без сюртука, в двух шагах от своего также разоблачившегося противника. Яркое солнце освещало эту сцену. Вязовнин никак не мог отдать себе ясного отчета в том, как он сюда попал; он продолжал твердить про себя: «Как это глупо! как это глупо!» — и совестно ему становилось, словно он участвовал в какой-то плоской шалости, — и неловкая, внутрь затаенная улыбка не сходила у него с души, а глаза его не могли оторваться от низкого лба, от остриженных под гребенку черных волос торчавшего перед ним француза.

— Tout est prt, — раздался картавый голос.

— Allez![29] — пропищал другой.

Лицо господина Лебёфа приняло выражение не столько озлобленное, сколько хищное, Вязовнин замахал шпагой… (Пиношэ уверил его, что незнание фехтовального искусства дает ему великие преимущества, des grands avantages!) и вдруг произошло нечто необыкновенное. Что-то стукнуло, топнуло, сверкнуло — Вязовнин почувствовал в груди, с правой стороны, присутствие какой-то

---

[29] Примечания: 29
Все готово… Сходитесь! *(фр.)*.

холодной, длинной палки… Он хотел отпихнуть ее, сказать «Не надо!», но он уже лежал на спине и испытывал ощущение странное, почти смешное: точно ему из всего тела зуб хотели вытащить… Потом земля тихонько поплыла под ним… Первый голос сказал: «Tout s'est passe dans les règles, n'est-ce pas, messieurs?»[30] Второй отвечал: «Oh, parfaitement!»[31] — И бух! все кругом полетело и провалилось… «Верочка!» — едва успел тоскливо подумать Вязовнин…

К вечеру «преданный малый» привез его в гостиницу des Trois Monarques[32] — а в ночь его не стало. Вязовнин отправился в тот край, откуда еще не возвращалось ни одного путешественника. Он не пришел в себя до самой смерти и только раза два пролепетал: «Я сейчас вернусь… это ничего… теперь в деревню…» Русский священник, за которым послал хозяин, дал обо всем знать в наше посольство — и «несчастный случай с приезжим русским» дня через два уже стоял во всех газетах.

---

[30] Примечания: 30
«Все произошло по правилам, не правда ли, господа?» *(фр.)*.

[31] Примечания: 31
«О, совершенно!» *(фр.)*.

[32] Примечания: 32
Трех монархов *(франц.)*.

Трудно и горько было Петру Васильичу сообщить Верочке письмо ее мужа; но когда дошло до него известие о гибели Вязовнина, он совсем потерялся. Первый прочел о ней в газетах Михей Михеич и тотчас же вместе с Онуфрием Ильичом, с которым опять успел сойтись, поскакал к Петру Васильичу. Он, как водится, еще в передней закричал: «Вообразите, какое несчастье!» и т. д. Петр Васильич долго не хотел ему верить; но когда уже не осталось возможности сомневаться, он, переждав целый день, отправился к Верочке. Один вид его, уничтоженный и убитый, до того испугал ее, что она чуть устояла на ногах. Он хотел было приготовить ее к роковой вести, но силы ему изменили — он сел и сквозь слезы залепетал:

— Он умер, умер…

Прошел год. От корней срубленного дерева идут новые отпрыски, самая глубокая рана зарастает, жизнь так же сменяет смерть, как и сама сменяется ею, — и сердце Верочки отдохнуло понемногу и зажило.

Притом же ни Вязовнин не принадлежал к числу людей незаменимых (да и есть ли такие люди?), ни Верочка не была способна посвятить себя навек одному чувству (да и есть ли такие

чувства?). Она вышла за Вязовнина без принуждения и без восторга, была ему верна и предана, но не отдалась ему вся, горевала о нем искренно, но не безумно… чего же более? Петр Васильич не переставал к ней ездить; он по-прежнему был ее самым близким другом, и потому нисколько не удивительно, что, оставшись однажды наедине с нею, он глянул ей в лицо и преспокойно предложил ей быть его женою… Она улыбнулась в ответ и протянула ему руку. Жизнь их после свадьбы продолжалась точно так же, как и прежде: в ней нечего было переменять. С тех пор уже прошло около десяти лет. Старик Барсуков живет вместе с ними и, не разлучаясь ни на шаг с своими внуками — у него их уже трое: две девочки и один мальчик, — с каждым годом молодеет. С ними он даже разговаривает, особенно с своим любимцем внуком, кудрявым и черноглазым мальчишкой, названным в честь его Степаном. Маленький плут очень хорошо знает, что дедушка в нем души не чает, и вследствие этого позволяет себе передразнивать его, как он ходит по комнате и восклицает «брау, брау!». Эта шалость всегда возбуждает большую веселость в целом доме. Бедный Вязовнин до нынешнего дня не забыт. Петр Васильич чтит его память,

всегда с особенным чувством отзывается о нем и при каждом удобном случае непременно скажет, что вот это-то любил покойник, такую-то имел он привычку. Петр Васильич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно — мирно и тихо; они наслаждаются счастием… потому что на земле другого счастия нет.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

«Strelbytskyy Multimedia Publishing»

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www. audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Эта книга охраняется авторским правом
Copyright © 2015
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

1853